

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.М. Руткевич

ИДЕИ 1914 ГОДА

Препринт WP6/2012/03
Серия WP6

Гуманитарные исследования

Москва
2012

УДК 11:32
ББК 87.3
P90

Редактор серии WP6
«Гуманитарные исследования»
И.М. Савельева

P90 **Руткевич, А. М.** Идеи 1914 года : препринт WP6/2012/03 [Текст] / А. М. Руткевич ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 52 с. – 150 экз.

Сражения Первой мировой войны впервые в европейской истории сопровождались широкомасштабной словесной войной, которая велась как для воздействия на общественное мнение в других странах, так и для мобилизации в самих воюющих странах. В пропагандистских кампаниях участвовали ведущие интеллектуалы, в том числе известные ученые. В данной работе основное внимание уделяется полемике философов, участвовавших в этом конфликте государств.

УДК 11:32
ББК 87.3

Rutkevich, Alexey. Ideas of 1914 : Working paper WP6/2012/03 [Text] / A. Rutkevich ; National Research University “Higher School of Economics”. – Moscow : Publishing House of the Higher School of Economics, 2012. – 52 p. – 150 copies.

Battles of the First World War were accompanied by what was the first full-scale war of words in European history. It was aimed at influencing the public opinion abroad as well as at mobilizing the population at home. Leading intellectuals, including famous scholars, participated in propaganda campaigns waged by the belligerent nations. This text focuses on the discussions between philosophers involved in the international conflict.

В данной научной работе использованы результаты проекта «Формирование дисциплинарного поля в гуманитарных и социальных науках», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г.

**Препринты Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» размещаются по адресу: <http://www.hse.ru/org/hse/wp>**

© Руткевич А. М., 2012
© Оформление. Издательский дом
Высшей школы экономики, 2012

Самое мирное в истории Европы столетие (1815–1914) было веком быстрых перемен: в начале этого периода европейцы жили почти так же, как люди всех предшествовавших аграрных обществ, к его концу одни страны Европы стали промышленными державами, другие встали на путь индустриализации и прошли значительную часть этого пути. Развитие фабричного производства, торговли, транспорта сопровождалось изменениями социальной структуры, которые способствовали политическим трансформациям. Пафос новизны был присущ европейской философской и научной мысли с XVII века, теперь он достигает уровня политики. Идея революции сопрягалась с мечтой об эмансипации, движением вверх тех слоев общества, которые ранее не имели надежды на какое бы то ни было улучшение своего удела. Громадное большинство, всегда жившее только своими повседневными нуждами, начинает творить историю. Закрытая ранее для масс сфера публичной политики теперь открывается посредством революционного насилия.

Революция мыслится как неодолимый ураганный ветер, сметающий на своем пути ветхие строения прежних эпох. После Французской революции любой бунт стал рассматриваться как продолжение движения, начатого в 1789 году, – словно периоды затишья и реставрации были всего лишь передышками, во время которых революционный поток уходил на глубину, откуда, собравшись с силами, вновь выплескивался на поверхность¹. Именно осмысление революции и ее последствий ведет к идее исторической необходимости. На смену прежним религиозным верованиям приходит вера в прогресс, т.е. в неизбежное движение ко все более совершенному состоянию. Идея бесконечного линейного прогресса, которая была неведома предшествующим векам, теперь движет и наукой, и массами. Почерпнутая из биологии метафора «развития» переносится на общество, на изменения в таких сферах человеческой деятельности, как наука и искусство. Она получает распространение и за пределами научного цеха. Как писал В.С. Соловьев в 1877 году, «понятие развития с начала настоящего столетия вошло не только в науку, но и в обиходное мышление»². От суеверий человечество переходит к научному мировоззрению, с помощью науки создает технику и промышленность, овладевает миром, сбрасывает с себя гнет прежних «неразумных» политических

¹ См.: *Арендт Х.* О революции. М.: Европа, 2011. С. 60–62.

² *Соловьев В.С.* Философское начало цельного знания. Мн.: Харвест, 1999. С. 179.

институтов, руководствуется все более человеколюбивой моралью, создает все более прекрасные произведения искусства. «А поскольку прогресс приводит к таким выдающимся успехам, то первым и священным долгом всякого нормального человека является служение ему, подчинение этому служению всего и вся»³.

Эту веру исповедует все расширяющийся слой образованных европейцев. Капиталистическая экономика и национальные государства испытывают потребность в огромном числе специалистов – инженеров, учителей, врачей, юристов и им подобных работников умственного труда. Увеличивается число университетов, а сами они преобразуются по ходу реформ. Во второй половине XIX века для этого слоя начнут искать наименование: *Intelligenz* из философских учений Шеллинга и Гегеля переключается в газеты и станет обозначать социальную группу; в конце века правые публицисты во время «дела Дрейфуса» назовут своих противников «интеллектуалами».

Победное шествие разума в первой половине XIX века еще связывалось с философией. Грандиозные построения немецких мыслителей захватывали лучшие умы в том числе и потому, что философия обратилась к истории. Выражения «дух эпохи», «дух времени» принадлежат XIX веку. Французская революция и последовавшие за ней четверть века войн были разрывом с традицией, они оказали историзирующее воздействие на сознание современников, заключающееся в том, что «с этого момента современная эпоха, в противоположность всем прежним, понимает себя исключительно и категорически временно-исторически и обращает свой взгляд в будущее»⁴. Как писал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, «философия есть эпоха, схваченная в мысли». Дух эпохи соотносится с исторической действительностью и выражает ее посредством идей.

Первые опыты такого постижения современности относятся к самому началу XIX века – лекции Иоганна Готлиба Фихте «Основные черты современной эпохи» (1804–1805), в которых обнаруживаются общие очертания и либерального прогрессизма, и пролетарской эсхатологии последующих десятилетий. Если мы хотим понять нашу эпоху, то вместе с тем мы должны понимать историю в целом, последовательность эпох: «такое понимание предполагает *мировой план*, который был бы вполне постижим в своем единстве и из которого можно было бы полностью вы-

³ *Бохеньский Ю.* Сто суеверий. М.: Прогресс, 1993. С. 120–121.

⁴ *Лёвит К.* От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 353.

вести главные эпохи человеческой земной жизни и выяснить их происхождение и связь друг с другом»⁵. Поиски подобного мирового плана получали в дальнейшем различные имена: польский гегельянец Август Чешковский ввел термин *историософия*, учение Карла Маркса о следующих друг за другом *формациях* было названо *историческим материализмом*. Но и далекие от немецкой спекулятивной философии мыслители со второй половины XVIII века говорили о необходимом движении человечества от дикости и варварства к цивилизации, от охоты и собирательства через земледелие к торговле и промышленности. Идея «всемирной истории» была одной из важнейших предпосылок появления исторической науки, которая быстро развивалась на протяжении XIX столетия. За несколько поколений (от Леопольда фон Ранке до Иоганна Густава Дройзена и Теодора Моммзена) университетская историография проходит путь от юности до зрелости. Сходным образом конституируются как самостоятельные дисциплины экономика, социология, психология, филология, этнография. Творцы этих новых наук еще обращаются к философии: имена таких мыслителей, как Вильгельм фон Гумбольдт, Иоганн Густав Дройзен, Вильгельм Вундт, упоминаются в любом серьезном учебнике по истории философии. Но их ученики на открываемых новых факультетах философией интересуются все меньше.

Еще дальше от философии отходят естественные науки. Вошедший в оборот к концу века термин «агностицизм» первоначально обозначал только то, что ученые держатся опытных данных и не прибегают к умозрительному (спекулятивному) познанию. Наука есть развитие здравого смысла⁶. Столь важная для немецких мыслителей 1830–1840-х гг. гегелевская философия предана забвению в эпоху «грюндерства»; Вильгельм Виндельбандт в своей «Истории философии Нового времени» не без оснований заметил, что в 1880–1890-е гг. в Германии вряд ли нашлось бы пять человек, читавших «Феноменологию духа». Правда, к Гегелю во второй половине столетия обращаются в Великобритании и в Италии. Но общая интеллектуальная атмосфера викторианской эпохи была совершенно чужда как прежней метафизике, так и гегелевской диалектике.

⁵ Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Мн.: Харвест, 2000. С. 7–8.

⁶ В «Духе позитивной философии» О. Конта целый раздел был посвящен «солидарности» между положительной философией и «всеобщим простым здравым смыслом» (см.: Конт О. Дух позитивной философии. Ростов на Дону: Феникс, 2003).

Несмотря на сопротивление всех церквей, ученое сообщество держится разных вариантов материализма и позитивизма. С учетом того, что медицинские факультеты по числу выпускников превосходили все остальные естественнонаучные факультеты, типичным представителем подобных воззрений был врач, своего рода «среднестатистический Базаров». Медицинские науки только к середине XIX века избавлялись от наследия витализма, которому противопоставлялся «механицизм», т.е. опора на фундамент физики и химии. Получавшие образование в 1870–1880-е гг. люди продолжали именовать себя «механицистами» в начале XX столетия, даже если сами они далеко отошли от подобной узкой программы научного знания⁷.

Математика и естествознание доказывали свою истинность все новыми техническими достижениями, но к умственной и общественной жизни применить законы физики или химии было довольно трудно. Попытки создать «социальную физику» были очевидным образом несостоятельными. После открытий Чарльза Дарвина к общественной жизни стали применять понятие естественного отбора, появляются различные варианты социал-дарвинизма. Однако и эти доктрины демонстрировали свою несостоятельность, когда их применяли для объяснения искусства, морали, религии. «Человек произошел от обезьяны, и, следовательно, мы должны любить друг друга», – так насмешливо излагал В.С. Соловьев кредо эволюционистов XIX века.

С момента своего возникновения наука Нового времени противопоставлялась не только средневековой схоластике, но и политическим дебатам: наука есть плод незаинтересованного, бескорыстного постижения мира. Эта оппозиция была четко сформулирована уже в раннем трактате Томаса Гоббса «О гражданине»⁸, но сам он приложил все усилия для создания социально-политической теории в «Левифане». То же самое можно сказать о ведущих мыслителях эпохи Просвещения: на протяжении всего XVIII века, от Шарля-Луи Монтескье до Николая Кондорсе, они отталкивались от ньютоновской физики, но писали, прежде всего, о социальных проблемах. Сходным образом поступали и создатели позитивизма XIX века. Огюст Конт и Герберт Спенсер были основоположниками

⁷ Например, З. Фрейд противопоставлял свои воззрения витализму («окультизму») К.Г. Юнга и писал, что сам он и его ученики остаются «механицистами и материалистами».

⁸ Или даже в нескольких афоризмах Леонардо да Винчи, противопоставлявшего «высшие достижения математических наук» наукам софистическим, «которые учат лишь вечному крику» (см.: *Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве*. СПб.: Азбука, 1998. С. 127–128).

социологии, Джон Стюарт Милль был крупным экономистом. Для понимания процессов, происходящих во все более сложном обществе, требовались социальные науки. Они появляются одновременно с идеологиями, поскольку в основании лежит одна и та же социальная трансформация, переход от аграрного общества к индустриальному. Общество стало сложным и непрозрачным, число социальных взаимосвязей выросло, «гражданское общество» обособилось от государства – перед тем, как действовать, нужно его понимать. Но и управлять этим обществом, контролировать его оказывается невозможно без средств мобилизации атомизированных индивидов, преследующих собственные интересы. Социология и экономика нужны для познания и предсказания, идеология нужна для совместного действия.

Термин «идеология» первоначально обозначал научные изыскания наследников Просвещения, вроде Пьера Кабаниса и Антуана Дестюта де Траси в наполеоновской Франции. Но уже через пару десятилетий его начинают употреблять в другом значении, имея в виду политические трактаты и партийные программы. К началу 1830-х гг. складываются три основные идеологические течения, значимые до сегодняшнего дня: либерализм, консерватизм и социализм. Первоначальная связь этих идеологий с интересами существующих на тот момент социальных групп (движущейся вверх буржуазии, сдающего свои позиции дворянства, нарождающегося рабочего движения) со временем стала не столь очевидной, да и в начальный период ситуация была не столь простой. Анри Сен-Симон и его ученики желали представлять интересы всех «производителей» (включая фабрикантов), британские консерваторы вовсе не были «реакционерами», мечтавшими о реставрации абсолютной монархии – таковыми не были и многие континентальные консерваторы, вроде Франсуа Гизо, Алексиса де Токвиля или Лоренца фон Штейна. Все эти политические проекты обосновывались с помощью философских и научных аргументов. После революций 1848 года на протяжении нескольких десятилетий либерализм, казалось бы, одержал окончательную победу. Консервативные партии в парламентах становятся выразителями интересов не только остатков аристократии, но и сельской буржуазии, выступления «четвертого сословия» подавлены. Сама социальная реальность, кажется, подтверждает либеральную доктрину. Капитализм свободной конкуренции доказывает свое превосходство ростом промышленности, торговли, техники, образования.

Однако этот период оказался довольно коротким. Правительства вынуждены принимать законы о профсоюзах и совершенствовать фабрич-

ное законодательство; под давлением аграриев они обращаются к практике протекционизма, да и защита интересов собственной промышленности требует тарифной политики. «Конкурентные рынки все больше и больше превращались в монопольные, а во внешней сфере набирали силу империалистические тенденции. Любопытно, что контрдвижение против экономического либерализма стало спонтанной реакцией, которая охватила все без исключения развитые страны, так что даже самые последовательные приверженцы этого учения не могли не осознать того факта, что *laissez faire* несовместим с условиями развитого рыночного хозяйства»⁹. Это ведет к ряду последствий, в том числе и касающихся вопросов мира и войны.

Если в период Священного Союза буржуазия была революционной силой, ставившей мир под угрозу (например, требованиями создания национальных государств и пересмотра границ), то во второй половине века победившая буржуазия желала мира и порядка. Европейский концерт национальных государств опирался на экономическую систему финансовых и торговых рынков, на золотой стандарт. «Успехи Европейского концерта объяснялись нуждами новой международной организации экономики, и с крахом этой организации сам Европейский концерт должен был потерпеть фиаско»¹⁰. Начинается борьба за внешние рынки, колониальная экспансия ведет к конфликтам. В границах каждой из стран формировалось организованное рабочее движение, в борьбе между разными социалистическими движениями господствующее положение занял марксизм – учение о неизбежности и желательности пролетарской революции. С «красной угрозой» к концу века вынуждены считаться правящие элиты. Наиболее дальновидные мыслители еще в 1860-е гг. предсказывали вступление Европы в эпоху, в которой двумя главными идеями станут социализм и национализм. В статье «Национальное самоопределение» (1862) идеолог либерализма и историк лорд Актон писал о том, что при всей утопичности и даже абсурдности социалистических доктрин, они все же ставят вопрос об ужасающем бремени, которое цивилизация возложила на людей физического труда. «Но национализм не имеет в виду ни свободу, ни благосостояние: и то, и другое принесено им в жертву повелительной необходимости сделать нацию шаблоном и

⁹ Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Россия и Европа: эффект колес (опыт институционального анализа истории экономического развития). Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2010. С. 215.

¹⁰ Поланьи К. Великая Трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетея, 2002. С. 29.

мерилом государственности. Его путь будет отмечен как вещественными, так и нравственными руинами, и все во имя нового измышления, готового пожать и труды господни, и интересы человечества»¹¹. И социализм, и национализм «отдают человека на милость коллективной воли» – такова, по Актону, угроза европейскому гуманизму.

Однако у целого ряда мыслителей уже в то время под сомнением находились итоги развития буржуазной цивилизации – торжество либерализма совсем не похоже на вершину человечности. К середине XIX века хорошо видны расхождения между заявленными в качестве высших ценностей «свободой, равенством и братством» и действительностью. И революционеры-социалисты, и контрреволюционеры-роялисты согласны в критике буржуазного порядка, между реакционерами, вроде Хуана Доносо Кортеса и Фридриха Юлиуса Шталя, с одной стороны, и революционерами, вроде Пьера Жозефа Прудона и Карла Маркса, с другой, нет принципиальных разногласий в оценке либералов: «либеральная буржуазия желает Бога, однако он не должен становиться активным; она желает монарха, но он должен быть беспомощным; она требует свободы и равенства и, несмотря на это, ограничения избирательного права имущими классами, чтобы обеспечить образованию и собственности необходимое влияние на законодательство, как будто образование и собственность дают право угнетать бедных и необразованных людей; она упраздняет аристократию крови и семьи и допускает бесстыдное господство денежной аристократии, глупейшую и вульгарнейшую форму аристократии; она не желает ни суверенитета короля, ни суверенитета народа. Так чего же она, собственно, хочет?»¹². Русские консерваторы охотно цитировали А.И. Герцена, разочаровавшегося в европейской буржуазии, оценки Запада у анархиста М.А. Бакунина в «Кнута-германской империи» сходны с суждениями националиста Н.Я. Данилевского.

Правые и левые сходятся в оценке самого типа человека, который доминирует в Европе. Если буржуа революционной эпохи иной раз проявлял героические черты, если нечто величественное все же было присуще «грюндерам», которые становились «угольными» или «стальными баронами», то их дети и внуки предстают как рантье, как потребители. К.Н. Леонтьев соглашается с Прудоном в оценке итога революционных перемен: «Европейская революция есть всеобщее *смещение*, стремление

¹¹ *Актон Дж.* Очерки становления свободы. Л.: Overseas Publications Ltd, 1992. С. 137.

¹² *Шмитт К.* Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 89.

уравнять и обезличить людей в типе *среднего*, безвредного и трудолюбивого, но безбожного и безличного человека, – немного эпикурейца и немного стойка»¹³. Но разве можно считать этого эстетически и этически посредственного индивида наследником Возрождения, на которое так охотно ссылаются либеральные публицисты? Можно ли считать вершиной и целью истории царство серости? Господствующий тип буржуазного интеллектуала представлен прежде всего рантье, адвокатами, парламентскими ораторами. Доносо Кортес называл буржуазию *la clase discutidora*, имея в виду готовность до бесконечности забалтывать любой вопрос. Если же взять гуманизм этого человеческого типа, то вполне подходят слова Токвиля, сказанные о «короле-буржуа» Людовике Орлеанском: «Алчный и сладостный» (*cupide et doux*). Речи о свободах и правах прикрывают жестокую эксплуатацию в самих европейских странах, во вне они служат обоснованием колониальных захватов. Уже в XIX веке «политика канонерок» предполагала высокие слова о свободах и о благах цивилизации. Первой войной «за свободу» была война Великобритании против Китая – за свободу торговли опиумом.

Те творцы цивилизации, которые поднимаются над уровнем вульгарного рантье – ученые, инженеры, художники – сделались наемными работниками капитала. Но власть денежных мешков не может быть вечной. Для одних торжество новой аристократии труда наступит в результате социалистической революции, для других эта аристократия предстает как синтез воинских доблестей феодального мира и научно-технических орудий современности. Фридрих Ницше был самой яркой фигурой среди тех, кто выступил проповедником такой аристократии, но далеко не единственной. Теории правящей посредством меча элиты создаются в то время целым рядом мыслителей в разных странах Европы. Итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето или французский создатель социальной психологии Густав Ле Бон были теми авторами, которые сформировали сознание Бенито Муссолини. Новая аристократия предполагает и новую общественную иерархию, на вершинах которой оказываются не боящиеся крови «люди дела». При всей ненависти Ницше к демократии, социализму и анархизму он пишет: «Революция сделала возможным Наполеона. За такую цену мы должны были бы даже желать анархического низвержения всей нашей цивилизации»¹⁴. На вратах подступающей эпохи начертано: «Горе слабому».

¹³ *Леонтьев К.Н.* Записки отшельника. М.: АСТ, 2004. С. 159–160.

¹⁴ *Nietzsche F.* Der Wille zur Macht. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1996. S. 597.

Социал-дарвинизм к 1890-м гг. соединяется с расизмом и становится составной частью идеологии колониальных держав. Практика создателей колониальных империй, вроде Джона Сесилия Родса, воспевается поэтами, пишущими о «бремени белого человека». Теория естественного отбора в рамках этой новой идеологии осмысливается следующим образом: выживают сильнейшие, к ним относятся представители белой расы, создавшие замечательную индустриально-техническую цивилизацию. Прочие не смогли этого сделать, поскольку принадлежат к биологически ущербным расам. Эти воззрения принадлежали совсем не «реакционерам»: на конец XIX века общепризнанными считались взгляды либерала Спенсера на эволюцию человеческого общества. По мере прогресса все более сложными и высокоорганизованными становятся язык, знания, умения, умственные способности. Люди с более развитым умом достигают успеха, выигрывают в конкуренции. Столкновения групп приводят к вытеснению сильными и развитыми слабых и отсталых. «Поскольку победители наиболее приспособлены, то из теории Спенсера следовало, что англичане XIX века обладали наиболее высокими способностями и жили в самом развитом обществе, являя собой, таким образом, образец для сравнения других народов»¹⁵. Вполне обычными для этнографов, историков, социологов той эпохи были сравнения дикарей с детьми. Но не так уж редки были и рассуждения о принадлежности представителей «низших рас» к животным. В зоопарках европейских государств обычно имелся и вольер с африканцами¹⁶; вскоре и счеты друг с другом европейские буржуа начинают выяснять, используя расовую терминологию. Чаще всего рассуждениями о расовом превосходстве пользовались в Англии и в Германии, но сходные пассажи обнаруживаются и у противников «пангерманизма». Например, автор монументальной книги «Империя царей и русские», Анатолий Леруа-Болье, обосновывает для французского образованного читателя союз с Россией детальным подсчетом того, что в крови русских арийское наследие преобладает над угрофинским. Антисемитизм был лишь одной из составляющих тогдашнего политического дискурса, и наиболее вирулентным он был в республиканской демократической Франции¹⁷. Одни теоретики конца XIX века пишут о классовой борьбе, другие о беспощадной «борьбе рас».

¹⁵ Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977. С. 26.

¹⁶ Такие вольеры в некоторых странах Европы просуществовали еще несколько десятилетий. Последний из них закрылся в Турине только в 1930-е гг.

¹⁷ См.: *Sternhell Z. La droite revolutionnaire 1885–1914. Les origins francaises du fascism.* Paris: Seuil, 1978.

La belle époque

Наименование Belle époque на языке современных историков относится не к историческим, а к мемориальным – «прекрасной эпохой» стали называть четверть века, предшествовавшие мировой войне, пережившие эту войну люди, которые ностальгически вспоминали о мирной и упорядоченной жизни. Это была эпоха невиданного промышленного роста, технических изобретений, научных открытий. В это время на улицах европейских городов появляются автомобили и трамваи, в домах – электрическое освещение и телефоны. Радио, аэропланы, кинотеатры, подводные лодки – этот список можно было бы продолжить. Все эти технические новинки опирались на научные открытия предшествующих десятилетий, но на это же время падают новые открытия, переворачивающие представления об устройстве мира, которые нередко именуют «научной революцией» (специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, «атом Бора», генетика).

В ряде стран Европы в литературе и изобразительных искусствах ощущим ветер перемен. Внешние обстоятельства были совершенно различными. Скажем, в Испании писатели и поэты, принадлежащие к так называемому «поколению 1898 года», выходят на сцену истории в момент военного поражения Испании в войне с США и утраты последних колоний, тогда как в Германии, Австро-Венгрии, России ситуация была иной. Но во всех этих странах литераторы и художники обращаются к новым формам. Наименования этому движению в статьях и манифестах давались самые разнообразные. Как писал впоследствии Г.В. Адамович, «у движения этого есть несколько названий: есть кличка, ставшая презрительной, – «декадентство», есть уклончивое, неясное имя – «модернизм», есть определение литературное, – «символизм»... Одна, единая творческая энергия вызвала в девяностых годах литературное оживление...»¹⁸. Общим для всех этих художников и поэтов оказывается отрицание эстетики викторианской эпохи.

Изменения происходят и в богословии. В католицизме они связаны с появлением «модернизма», в немецком протестантизме возникает «школа истории религии», которая отходит от морализаторских трактовок христианства в рамках так называемой «либеральной теологии». Самым существенным в Новом Завете для этой школы оказывается не догматика, не нравственные идеи, но личное благочестие, мир переживаний верую-

¹⁸ Адамович В. Одиночество и свобода. СПб.: Азбука, 2006. С. 52.

щего индивида¹⁹. Высшим выражением религии становится мистика. Религиозное переживание не сводится к прочим высшим человеческим чувствам, не говоря уж об инстинктах, социальных интересах и т.п.; если такое сведение невозможно, то первой задачей становится феноменологическое описание, установление неких всегда в нем проявляющихся структур. Виднейший представитель этой школы, Рудольф Отто, с 1911 года работает над книгой «Священное», которая выйдет во время войны – первый в XX веке набросок феноменологии религии. Пробуждается интерес к оккультизму, к восточным религиям. При этом разочаровавшиеся в собственных религиозных традициях люди заняты поиском нового *опыта*, а не каких-то догматов и ритуалов. Каждый образованный индивид считал своим долгом иметь «мировоззрение» – таковым могли стать хоть дарвинизм, хоть вагнерианство. «Это был век, когда музыка Вагнера, не довольствуясь ролью музыки, хотела занять место философии и даже религии; это был век, когда физика хотела стать метафизикой, философия – физикой, а поэзия – живописью и музыкой; политика уже не желала оставаться только политикой, а мечтала сделаться религиозным кредо и – что уж совсем нелепо – сделать людей счастливыми»²⁰.

Слова «переживание», «опыт», «субъективность» вообще наиболее характерны для умозрений этого периода. Один из наиболее чутких диагностов эпохи, немецкий философ и социолог Георг Зиммель в неоконченном наброске «Индивид и свобода» писал о появлении нового индивидуализма. Наследием Просвещения был либеральный индивидуализм XIX века, утверждавший свободу и равенство абстрактного человека – равного любому другому, а потому и равноправного. «В практической области эта концепция индивидуальности явным образом выливается в *laissez faire, laissez passer*. Если во всех людях содержится всегда тот же самый «человек вообще» как общая их сущность, если предлагается полное и ничем не сдерживаемое развитие этой сердцевины, то не требуется никакого регулирующего вмешательства в человеческие отношения»²¹. Общественная гармония возникает из конкурентной борьбы, «невидимая рука» устанавливает равновесие не только на рынках, она гарантирует права и свободы в «гражданском обществе», а государство мыслится как «ночной сторож». Но возможно и совсем иное понимание индивидуаль-

¹⁹ См.: Бульман Р. Избранное: Вера и Понимание. М.: РОССПЭН, 2004. С. 17.

²⁰ Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.: Наука, 1991. С. 74.

²¹ Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 196–197.

ности, развитое прежде всего в рамках романтизма. Ведь «обособившиеся индивиды желают *отличаться друг от друга*, быть не просто свободными одиночками вообще, но особенными и неповторимыми»²². Каждый индивид сам формирует некий совершенно неповторимый облик – такова нравственная задача каждого, каждый должен стремиться к самореализации, а потому не равенство, но различие людей становится нравственным требованием. Такой индивидуализм Зиммель называет «качественным», противопоставляя его «нумерическому» индивидуализму Просвещения и либерализма. Но качественный индивидуализм неповторимых личностей предполагает иные социально-экономические принципы. Уже не свободная конкуренция, а разделение труда в рамках сложного общественного организма становится основанием экономики. Романтический индивидуализм связан не с механическим, а с органическим пониманием общества. В последнем роль государства никак не сводится к положению «ночного сторожа».

Философия в этот период также обращена к субъективному опыту мира. На разные языки переводят с датского Сёрена Кьеркегора, растет число поклонников Артура Шопенгауэра, пожалуй, самым популярным мыслителем становится Фридрих Ницше – не только в Германии, но и в России начала XX века. Даже занятые обоснованием «математического естествознания» неокантианцы пишут о «чистом опыте», текучую «жизнь сознания» пытается уловить феноменология Эдмунда Гуссерля. Слово «переживание» (*Erlebnis*) из философских трудов Вильгельма Дильтея переходит в повседневную речь, основоположник прагматизма Уильям Джеймс пишет о «потоке сознания» и создает теорию «радикального эмпиризма». И в интуитивизме Анри Бергсона во Франции, и в немецкой «философии жизни» отвергается прежняя ориентация философии на естественные науки, причем речь идет не только о натурализме и позитивизме XIX века, но и о всей традиции Нового времени – философия перестает быть «служанкой науки». Появляются первые труды мыслителей (Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов в России, Мигель де Унамуно в Испании), которые впоследствии будут классифицироваться как «экзистенциалистские».

Впоследствии и либералы, и марксисты напишут немало критических статей и монографий, в которых этот поворот к «жизни» будет рассматриваться как «затмение разума», иррационализм, реакционный антиинтеллектуализм, обслуживавший империалистическую политику и подготавливавший фашизм. Иные из этих работ были талантливыми (ска-

²² Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М.: Юристъ, 1996. С. 197.

жем, книга Георга Лукача), но такой узко «партийный» взгляд на философию той эпохи односторонен. Легко указать и на то, что в то время сочинения Ницше, Бергсона, Зиммеля находили почитателей прежде всего среди «левых» интеллектуалов. В России Ницше зачитываются русские символисты, причем писали о нем именно те из них, которые после 1917 года станут служить новой власти; к Бергсону обращается и анархист И.С. Книжник-Ветров, и марксист В.А. Базаров; даже Г.В. Плехановым была написана положительная рецензия на «Материю и память» Бергсона²³. Критика догматического материализма, позитивизма или гегелевской диалектики совсем не обязательно ведет к «поповщине» или фашизму. Противники этой философии правы лишь в том, что через пару десятилетий некоторые тезисы философов превратятся в идеологические принципы послевоенных партий.

Идеологические дебаты предвоенного времени дают картину любопытных трансформаций доктрин и партийных программ. «Национал-либерализм» союзов немецкой буржуазии, вроде Alldeutsches Verband, Kolonialgesellschaft, Flottverein, представляет собой программу империалистических захватов, «борьбы за место под солнцем», как выразился германский канцлер. Социал-демократы в целом пока еще не переходят на позиции появившихся среди них «ревизионистов», вроде Эдуарда Бернштейна, но лидеры профсоюзов, желающие прежде всего улучшать условия наемных работников, уже далеки от революционных мечтаний. Иные из них уже переоценивают и лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую. Конечно, на социалистических конгрессах они поют «Интернационал», один куплет которого исчез в русском переводе: «И если эти каннибалы будут упорствовать и делать из нас героев, то скоро они узнают, что наши пули предназначены для собственных генералов». Но как практики они хорошо понимают, что наличие рабочих мест и благосостояние тружеников зависят от наличия рынков сбыта, борьбы за колонии. Немецким рабочим были хорошо известны слова их вождя Августа Бебеля: «Если речь пойдет о войне с Россией, я первым возьму винтовку». Война за территории на Востоке как продолжение *Drang nach Osten* у одних сочетается с мыслями о войне между «европейским прогрессом» и «тюрьмой народов» у других.

Еще более характерны трансформации консерватизма. Во второй половине XIX века происходила «национализация» европейских монархий,

²³ См.: *Нэттеркотт Ф.* Философская встреча. Бергсон в России (1907–1917). М.: Модест Колеров, 2008.

дворянство служило уже не династии, а нации. «Пангерманизм» и «панславизм» еще совсем не характерны для 1870-х гг., но они становятся направляющими идеями во времена Александра III и Вильгельма II. В Италии правые националисты начинают писать о революционной борьбе «молодых наций» против «старых». Происходит преобразование и либеральной, и консервативной идеологии: «Национализм из понятия, связанного с левыми и либеральными идеями, превратился в среде мелкой буржуазии в шовинистическое, имперское, агрессивное-ксенофобское движение, точнее – в правый радикализм»²⁴. В республиканской Франции эта эволюция консерватизма была еще более заметной. Action française Шарля Морраса выступает как партия «интегрального национализма», отказа от традиционных форм монархии, связи престола и алтаря. По существу, это уже партия нового «цезаризма», противостоящего плутократии. Более того, «интегральные националисты» пытаются выработать общую программу с левыми анархо-синдикалистами, воздействовать на рабочее движение через профсоюзы. Попытки были неудачными, но они задают вектор будущих движений такого рода: консервативные элиты должны опираться на рабочие массы. В Австро-Венгрии в 1904 году возникает первая рабочая партия («Немецкая рабочая партия» – DAP), которая увязывает улучшение положения рабочих с национализмом, направленным как против «еврейского капитала», так и против притока «дешевой рабочей силы» из Чехии. Молодой Адольф Гитлер в то время наблюдал за тем, как пользуется антисемитской пропагандой бургомистр Вены Карл Люгер, а Георг фон Шённерер сочетает немецкий национал-либерализм с расовой доктриной. В «Майн кампф» он будет вспоминать свой восторг в связи с началом войны. Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево поначалу вызвало у него опасения, поскольку наследника с его симпатиями к славянам империи ненавидели и готовы были уничтожить сторонники пангерманизма; его убили сербы, война неизбежна, да здравствует война!

Предчувствия

Философы последних предвоенных лет занимались не только своими цеховыми проблемами онтологии и этики, они писали о путях развития европейской цивилизации. Философы размышляли о борьбе в сфере духа,

²⁴ *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. С. 192.

которая имеет отношение к борьбе наций. Н.А. Бердяев в книге о А.С. Хомякове писал о том, что ранним славянофилам приходилось бороться с классическим немецким идеализмом, тогда как ныне борьба идет с идеализмом эпигонским. «То вооружение, которое выковывалось в борьбе с классическим германским идеализмом, с вершинами западной философии, может пригодиться и для борьбы с идеализмом модернизированным»²⁵. Сходные отсылки к Иоганну Готфриду Гердеру, Иоганну Готлибу Фихте, Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю, как «борцам» немецкой Kultur против западной civilization, были нередки в Германии. Но намного интереснее таких отсылок к «национальному духу» неутешительные размышления о судьбах европейского мира. Пророками философы все же не были, пророческим даром обладали, скорее, поэты, предрекавшие «неслыханные перемены, невиданные мятежи»²⁶. Можно вспомнить о видениях, посещавших хоть русских символистов, вроде Андрея Белого и Л.Л. Эллиса, либо немецких поэтов-экспрессионистов, вроде Георга Гейма. Наступает век войн и революций – об этом было немало сказано мыслителями самых разных воззрений. Такие русские писатели, как Л.Н. Толстой, К.Н. Леонтьев или В.С. Соловьев, полемизировали по многим вопросам, общим для них было предвидение насильственных перемен²⁷. Правда, ни они, ни западноевропейские писатели, не предвидели характера, длительности, жесточечности войны.

²⁵ *Бердяев Н.А.* Константин Леонтьев. Алексей Степанович Хомяков. М.: АСТ, 2007. С. 351–352. «Грех Хомякова был не в том, что он отрицал Запад (он не отрицал Запад, а в своей критике Запада часто бывал прав), – грех его в том, что он с нелюбовью относился к католицизму, то есть к целой половине христианского мира, и питал антипатию к романским народам, то есть к живым носителям католицизма на Западе. Хомяков всегда отдавал предпочтение Германии перед странами романскими. Думаю, что в этом он допустил большую ошибку по отношению к идеалам России и славянства. Германия – носительница идеалов пангерманизма, глубоко враждебных идеалам панславизма. Германия имеет всемирно-историческое стремление германизировать славянство, привить ему свою культуру. Германизм – одна из исторических опасностей для России и славянства, подобно опасности панмонголизма. Со странами романскими нам делить нечего» (*Там же*. С. 426–427).

²⁶ В предисловии к написанному в основном в 1910–1911 гг. «Возмездью» Блок отмечает, что на то время в газетах мелькали статьи о грядущей войне: «Уже был ощутим запах гари, железа и крови».

²⁷ «Мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов» (*Толстой Л.Н.* Так что же нам делать? // *Толстой Л.Н.* Собр. соч. в XXII т. Т. XVI.

Об этом писали более информированные и политически ангажированные люди. В 1911 году председатель самого крупного союза немецкой буржуазии *Alldeutscher Verband*, Генрих Клас, пишет брошюру «Если бы императором был я», в которой требует от кайзера скорейшего начала войны, поскольку через несколько лет Россия укрепитя экономически и выигрыш в войне станет проблематичным. Эту позицию разделяют генералы германского Генштаба. О неизбежности войны пишут публицисты многих стран; опасаящиеся войны социал-демократы на своих предвоенных конгрессах обещают ответить на подступающую войну всеобщей забастовкой. «Война великих европейских держав, разразившаяся в начале августа 1914 года, ни для кого не была неожиданностью. Редко бывало так, чтобы о войне так много говорили задолго до ее начала. Прежде чем начались военные действия, война уже давно существовала в головах европейцев... Эта большая война стала возможна благодаря новому национальному мышлению культурных (!) народов Европы, его основные особенности можно выразить четырьмя понятиями: национализм, милитаризм, империализм и расизм»²⁸.

Однако мыслилась будущая война по образцам прошлых войн, причем не только генералами, которые планируют будущие войны по имеющимся шаблонам. Государственные деятели и юристы по-прежнему оттачивались от идеи абсолютного суверенитета²⁹; политики и философы писали о том, что война служит преодолению индивидуального эгоизма, дисциплинирует людей, развивает силы для служения высшим всеобщим интересам. Не только поклонники Гегеля писали о высшей разумности войны; слова оппонента Гегеля в философии истории Якоба Буркхардта передают общее умонастроение правящих элит на 1914 год: «Длительный мир не только расслабляет, он способствует появлению множества

М.: Художественная литература, 1983. С. 378–389). «Социализм (т.е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества» (*Леонтьев К.Н. О всемирной любви // Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М.: АСТ, 2004. С. 210*).

²⁸ *Дани О. Нации и национализм в Германии, 1770–1990. СПб.: Наука, 2003. С. 212.*

²⁹ «Европейское государственное международное право никогда не имело целью или принципом постановку войны вне закона. Совсем наоборот, оно предусматривало должные формы объявления войны, запрещало использование в войне некоторых средств и способов, регламентировало порядок заключения перемирия и подписания мира, устанавливало определенные обязанности нейтральных стран по отношению к странам воюющим, а воюющих – по отношению к гражданскому населению, военнопленным и т.д. Короче говоря, оно узаконивало и ограничивало войну, но никак не считало ее преступлением» (*Арон П. Мир и война между народами. М.: Nota bene. С. 165–166*).

плачущих, боязливых, жалких существ, которые без него не могли бы появиться, но теперь с громким воплем кое-как цепляются «за право» существовать, занимают места, принадлежащие подлинным силам, и коптят небо, а в общем оскверняют национальное достоинство. В войне восстанавливается уважение к истинной силе, жалкие же существа по крайней мере принуждаются к молчанию»³⁰.

Война

Начало войны было с энтузиазмом встречено городскими массами почти всех участвовавших в войне стран. Митинги, шествия, торжественные проводы на фронт первых эшелонов – таким был отклик на сообщения о войне европейских элит и среднего класса. Мобилизованные дети крестьян и рабочих отравлялись на войну покорно, но без всякого восторга. Вожди рабочего движения и профсоюзные лидеры поддерживали во всех странах «оборонительную» войну, но у одетых в серые шинели молодых рабочих восторга война не вызывала. Зато их сверстники из дворянских и буржуазных семей – студенты, выпускники гимназий и лицеев – записывались добровольцами, заполняли юнкерские училища. Сохранились восторженные письма погибших в первые месяцы войны добровольцев-студентов, передающие эти умонастроения³¹. Романтизм предвоенных движений, вроде немецкого Wandervogelbewegung, патриотизм французских католических союзов или роялистов из Camelots du Roi способствовал мобилизации лучшей части молодежи. С фронта не вернется примерно треть предвоенных выпускников Оксфорда и Кембриджа. Жертвовали своими детьми и представители высшего света: среди погибших на фронте встречаются и немецкие герцоги, и русские великие князья.

Отправились на войну и философы. По разные стороны фронта находились Эмиль-Огюст Шартье (известный под псевдонимом Ален) и Эрнст Юнгер, в галицийском сражении участвовали Людвиг Витгенштейн

³⁰ Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М.: РОССПЭН, 2004. С. 143.

³¹ «Ура, наконец-то я получил назначение! – писал студент-юрист незадолго до своей гибели в сражении на Марне, – Мы победим! Да и как может быть иначе при столь могущественной воле к победе. Дорогие мои, гордитесь тем, что вы живете в такое время и являетесь представителями такого народа» (Kriegsbriefe gefallener Studenten / Hrsg. von Ph. Witkop. München: Albert Langen, Georg Müller, 1929. S. 7 ff).

и Федор Степун. Воевал и будущий неотомист, историк средневековой философии Этьен Жильсон, и вступивший добровольцем во французский Иностраннный легион Александр Коире, который прославится как историк науки. У мыслителей старшего поколения сражались и гибли на фронте сыновья (как сыновья Э. Гуссерля и Г.Г. Шпета). В 1915 году погиб наиболее даровитый представитель молодого поколения неокантианцев Эмиль Ласк, в боевых действиях участвовали Ханс Фрайер и Норберт Элиас (философы, которые внесли значительный вклад в развитие социологии), будущий учитель американских неоконсерваторов Лео Штраус. Мартин Хайдеггер был мобилизован, но на фронт не попал по состоянию здоровья, тогда как его будущий ученик Карл Лёвит воевал и оказался в плену у итальянцев. Эти мыслители напишут главные свои труды после войны; их старшие коллеги, имевшие к тому времени известность и научный вес вели другую войну – впервые в истории с таким размахом велась пропаганда, оправдывающая собственные действия и очерняющая врага.

Уже с самого начала конфликта почти каждой стране было нелегко обосновывать свое вступление в войну. Разумеется, имелись страны-жертвы (Бельгия, Сербия) и договоры, в соответствии с которыми приходилось объявлять войну агрессору, напавшему на союзника. Но кто был тем агрессором, который развязал войну? Оправдывать свои действия правительствам приходилось не только перед общественным мнением собственных стран. Активная пропагандистская кампания велась в нейтральных странах, она сопрягалась с подрывной деятельностью в тылу врага. Эта практика уже существовала («рептильная пресса» Отто фон Бисмарка³², подготовка американскими газетными трестами войны с Испанией в 1898 году, японские деньги для русских революционеров и т.п.), но впервые она приобрела такой размах. В странах, которые вступали в войну в 1915–1917 гг. (Болгария, Италия, Румыния, США), уже воюющие державы вели активную агитацию в газетах. Но с каждым месяцем затянувшейся войны все более настоятельной была задача моби-

³² Пожалуй, именно с Бисмарка начинается согласование дипломатических и военных действий с организацией общественного мнения через прессу. «У Бисмарка были свои журналисты, без которых он не сумел бы наносить свои удары, – с завистью писал французский националист Ш. Моррас в 1905 году – Эмская депеша предполагала восторженное участие многочисленной и покорной прессы; вот образцовое использование потребных государству фикций, которые вбрасываются в благоприятный и хорошо просчитанный момент, чтобы последовал взрыв в общественном мнении» (*Моррас III*. Будущее интеллигенции. М.: Праксис, 2003. С. 61–62).

лизации внутренних ресурсов, недопущения антивоенных выступлений, забастовок и бунтов.

В этих идеологических кампаниях с самого начала были задействованы университетские профессора. Собственно говоря, война слов началась еще до того, как развернулись боевые действия. Первый манифест, подписанный несколькими английскими учеными, был опубликован 1 августа: в нем содержался призыв к правительству отказаться от участия в войне, которая прямо не затрагивает британские интересы. Через несколько дней появляется другой манифест, подписанный уже десятками ведущих ученых и литераторов, в котором, помимо ссылок на вторжение в Бельгию, содержатся все главные тезисы пропаганды Антанты: война идет не с Германией науки и искусства, а с милитаризмом и экспансионизмом правящей юнкерской верхушки. Ответом на это выступление был получивший наибольшую известность манифест «К культурному миру» («Манифест 93-х»), – виднейших немецких ученых и литераторов, в октябре вышел еще один манифест: «Обращение преподавателей высших школ германского рейха», написанный видным филологом-античником Ульрих фон Виламовицем-Мёллендорфом и подписанный 4 тысячами профессоров и приват-доцентов. Затем последовала «Декларация немецких университетов»³³.

Наибольшую – и печальную – известность получил манифест «К культурному миру», на него будут ссылаться критики немецких интеллектуалов из самых разных стран. Он состоял из антитезисов, каждый из которых начинался со слов: «Неправда, что...». Причем иные из этих утверждений сразу вызвали возмущение не только в странах Антанты. Как могли восприниматься слова о том, что Германия вовсе не нарушала суверенитета Бельгии? Разве не сгорела библиотека в Лувене, не был разрушен огнем артиллерии собор в Реймсе? Ответом были воззвания ученых стран Антанты, в которых вновь и вновь подчеркивалось, что война идет не с Германией Гёте и Шиллера, а с варварством авторитарной прусской военщины.

Разумеется, немецкие профессора имели основания для того, чтобы укорять своих оппонентов в лицемерии, когда те писали о том, что война ведется странами Антанты за ценности цивилизации, за свободы и

³³ Подробно «война манифестов» и ее последствия для научного мира рассматриваются в статье А. Дмитриева: *Дмитриев А.Н.* Мобилизация интеллекта: международное научное сообщество и Первая мировая война // Интеллигенция в истории. М.: ИВИ РАН. С. 296–335.

права. В Германии и в Австро-Венгрии свобод и прав у населения было не меньше, чем в Великобритании (и явно больше, чем в России), принадлежность Центральной Европы к «европейской цивилизации» также не вызывала сомнений. Но немецкие ученые и литераторы утверждали нечто большее: с немецкой стороны война была объявлена «войной духа», Кант и Гёте в ней оказались в одном строю с Бисмарком и Мольтке. В дальнейшем немецкие публицисты раз за разом будут писать об «особом пути» (*Sonderweg*) Германии, чем будут неизменно пользоваться их оппоненты, ссылающиеся то на политическую культуру лютеранства, то на ментальность немецких «мандаринов»³⁴. Впрочем, во время войны попытки сделать ее религиозной не нашли поддержки ни у протестантов, ни у католиков, а либеральные и марксистские разоблачения консервативных «мандаринов» принадлежат другой эпохе и связаны с попытками «левых» найти истоки нацизма в бисмарковском рейхе³⁵ (а то и во всей немецкой истории). Немецкие ученые той поры были не столько консерваторами, сколько национал-либералами, как и большая часть предвоенной немецкой городской буржуазии.

Немецкие публицисты пользовались той же оппозицией «духа» и политической «плоти», оценивая страны Антанты. Существует Россия Толстого и Достоевского и Россия царского самодержавия – восточная деспотия и «тюрьма народов»; Франция Декарта и Паскаля находится в конфликте с цивилизацией рантье; историк Ганс Дельбрюк, один из представителей научного цеха, наиболее вовлеченных в разработку германских планов послевоенных аннексий, писал о «двух Англиях». Французский реваншизм ничуть не легче было обосновывать ссылками на «цивилизацию», чем германский империализм. Ведь если следовать провозглашаемым лозунгам о правах народов, то Эльзас заселен все же этническими немцами. Британское стремление удержать за собой коло-

³⁴ См.: *Ringer F.* The Decline of German Mandarins. The German Academic Community 1890–1933. Cambridge: Harvard University Press, 1969. Об особенностях сформированного Реформацией немецкого менталитета и его воздействии на политическую сферу написано огромное число работ. Начало положила написанная Х. Плесснером книга «Запоздалая нация» (1935) (впервые вышла под другим названием: *Plessner H.* Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche. Zürich, Leipzig: Max Niehans, 1935. В 1959 – ее переименованное переиздание: *Plessner H.* Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W. Kohlhammer, 1959).

³⁵ Наибольшую известность среди историков получили труды Х.-У. Велера, в первую очередь: *Wehler H.-U.* Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. Goettingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1973.

нии и господство на морях трудно подкрепить ссылками на поэзию Шекспира или прозу Диккенса.

Все полемические ухищрения такого рода не имеют отношения к философии. Конечно, видные философы подписывали манифесты: Э. Бутру и А. Бергсон во Франции, В. Вундт и В. Виндельбанд в Германии, Л.М. Лопатин и П.Б. Струве в России. Но они поступали в данном случае как патриоты, граждане своих стран, а не философы в строгом смысле слова. Философия рождается как незаинтересованное созерцание Универсума, исследование наших познавательных способностей, размышление о сущем и должном. Даже политическая философия проясняет вопрос об общественном благе и лучшем политическом устройстве, а не о том, кто фактически виновен в развязывании войны. Лишь в том случае, когда темой философских умозрений сделалась история, а сам философ сделался своего рода диагностом рождающегося будущего, мировая война обрела черты именно философской проблемы. Но склонные к такого рода умозрениям философы составляли незначительное меньшинство.

Круг проблем, которыми занимались британские, французские, американские философы был таков, что они не писали по поводу войны *философских* текстов. Они подписывали воззвания, принимали участие в важных дипломатических миссиях, но все это не имело никакого отношения к их собственным теоретическим построениям. Скажем, Бертран Рассел занял пацифистские позиции, выступал против участия Англии в войне, даже был осужден и арестован, но с его работами по математической логике и теории познания это никак не соотносилось. Анри Бергсон был послан французским правительством в США с целью уговорить Вудро Вильсона начать войну против Германии – свою роль играла его всемирная известность, равно как и то, что, в отличие от прочих французских философов, он хорошо говорил по-английски, поскольку провел детство в Великобритании. Но с проблематикой таких трудов, как «Материя и память» или «Творческая эволюция», это никак не было связано. Никакой роли не играла тут и вера в Бога или атеизм мыслителей. Все христиане понимали, что убийство есть грех, но все церкви благословляли войну; европейские социалисты и социал-демократы, чаще всего в Бога не верившие и до войны провозглашавшие войну злодеянием правящих классов, теперь ее прямо оправдывали. Профессора философии в этом отношении ничуть не отличались от прочих представителей образованных средних классов. Французские и англосаксонские философы принимали общую для подавляющего большинства версию событий, их профессиональные навыки не играли никакой роли. Скажем, де-

тальный анализ публичных выступлений французских философов³⁶ показал, что писали патриотические тексты для прессы чаще всего никому не известные учителя лицеев (философия как в III Республике, так и ныне изучается в последнем классе средней школы), а к профессиональным можно отнести лишь некоторое число историко-философских статей, содержащих суровые суждения о Фихте и Гегеле. Последний вообще был плохо известен во Франции и истолковывался во времена Наполеона III как опасный левый автор, подкрепляющий социалистические устремления к подрыву общественного порядка³⁷, тогда как в предвоенные годы и во время войны его считали идеологом прусского милитаризма. В те годы словосочетание «немецкая идеология» приобретает широкое хождение во Франции. Его использовал еще создатель Action française Шарль Моррас, относя к таковой без разбора и немецких романтиков, и Фихте, и Маркса, и анархистов. Такое «безразмерное» словоупотребление будет иметь во Франции долгую историю – от историко-философски неточных, но все же уместных суждений Альбера Камю в «Бунтующем человеке», и вплоть до ничтожных с профессиональной точки зрения писаний «новых философов», вроде Андре Глюксмана.

В указанных странах само философское образование не способствовало историософским трудам. Во Франции на философских факультетах учили будущих учителей в лицеях, им давали добротное историко-философское образование и некоторые познания в области эпистемологии и этики³⁸. В Великобритании еще до возникновения аналитической философии обучали тех, кто способен аргументированно решать четко поставленные проблемы логики и теории познания. Всемирно-историческое значение войны к подобным проблемам никак не относи-

³⁶ См.: Les Philosophes et la Guerre de 14. Saint-Denis: Presses universitaires de Vincennes, 1988. Во время войны философы написали всего лишь 50 статей, причем в подавляющем большинстве случаев ничего собственно философского в них не было. Не было написано ни одной философской книги, посвященной войне. Если учесть, что во Франции число преподавателей философии было большим, чем во всех остальных воюющих странах (из-за обязательного преподавания философии в лицее), то можно сказать, что французские философы приняли минимальное участие в словесной войне.

³⁷ См.: *Espagne M.* En deca du Rhin. L'Allemagne des philosophes français au XIX-e siècle. Paris: Cerf, 2004; *d'Hondt J.* De Hegel à Marx. Paris: PUF, 1972.

³⁸ Первая работа, которая может быть отнесена к философско-историческим в том смысле, как это понималось в Германии, была опубликована во Франции только в 1938 году – это докторская диссертация Раймона Арона (См.: *Aron R.* Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité historique. Paris: Gallimard, 1938; *Aron R.* Essai sur la théorie de l'histoire dans l'Allemagne contemporaine. La philosophie critique de l'histoire. Paris: Vrin, 1938).

лось, равно как и популярные оппозиции «европейская цивилизация – немецкое варварство» и т.п. Одни философы воевали на фронте, другие подписывали манифесты, третьи просто молчали (таковых было подавляющее большинство).

Во Франции легче, чем в других воюющих странах, произошла интеграция социалистов в правящую элиту. Жан Жорес был убит накануне войны, а прочие вожди французского социализма и ранее вступали в союзы с радикалами. Профсоюзы во Франции не были сильны, социалисты чаще всего не были догматическими сторонниками марксизма. Идеологическое обоснование было республиканским – война шла с вторгшейся на территорию Франции армией, все «левые» вспоминали битву при Вальми и пели те куплеты «Марсельезы», в которых упоминались светловолосые варвары, кровью которых следует обагрить штыки. Те самые депутаты и министры, которые до начала войны всячески мешали перевооружению армии и вели агитацию против «военщины»³⁹, мгновенно сделались патриотами. Сделавший карьеру на борьбе с церковью и армией Жорж Клемансо, занявший пост министра во время войны, не только жестоко подавил бунты в армии под конец войны, но арестовал ряд лиц, бывших в прошлом его союзниками. Патриотизм на время объединил давних врагов. Роялисты из Action française поклонялись Жанне д'Арк, а не республиканской Марианне, но точно так же добровольцами вступали в армию ненавидимой ими III Республики. Более того, и на уровне идей между ними и радикалами не было противоречия: и те, и другие выступали против «германского варварства» от имени «цивилизации»⁴⁰, и те, и другие говорили о единении всей нации в борьбе с историческим врагом.

Все участвующие в войне государства ссылались на национальный интерес, *raison d'état*, ими руководили националисты. Даже в царской России правительство уже считалось с интересами национальной буржуазии. Исключением была, разве что, Австро-Венгрия, поскольку национальные движения разрывали империю – немецкие националисты из

³⁹ Хорошее представление о настроениях этой части французской элиты дают первые страницы воспоминаний посла Франции в Петрограде М. Палеолога (*Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М.: Международные отношения, 1991*).

⁴⁰ Особенностью французских крайних правых было то, что они считали себя наследниками не только классицизма времен абсолютной монархии, но и всего греко-римского наследия. Поэтому Ш. Моррас, подводя итоги своей публицистической деятельности, мог писать о том, что Action française всегда защищало от варварства единственную «истинную Цивилизацию». См.: *Maurras Ch. Mes idées politiques. Paris: Fayard, 1937. P. 82–84.*

сторонников Георга Шёнерера были не меньшими врагами империи, чем националисты чешские или венгерские. Одним из парадоксов дунайской монархии было то, что официального имперского патриотизма здесь держались прежде всего евреи, тогда как пангерманское движение выступало не только против династии, но и Австро-Венгрии как таковой, видя свою цель в воссоединении всех немцев. Они мечтали о власти германской расы над всем миром, тогда как принадлежащие евреям газеты, начиная с главного либерального издания *Neue Freie Presse*, проповедовали имперский патриотизм, являвшийся своего рода гражданской религией австро-венгерских евреев. «Если император был наднационален, то евреи были поднациональны, представляя собой вездесущую народную субстанцию Империи»⁴¹. Более того, евреи были чаще всего пронемецки настроены. В воспоминаниях Карла Каутского можно найти слова о том, что либеральные венские евреи были «националистами с энтузиазмом, переходившим в шовинизм», причем шовинизм у них был пангерманский – среди основателей пангерманского движения Шёнерера поначалу было много евреев (его правой рукой и идеологом движения был еврей Генрих Фридьонг), которые покинули движение лишь после того как к антиславянскому шовинизму движения добавился расовый антисемитизм. В этих условиях во время войны была приглушена любая национальная пропаганда, а несущая огромную ответственность за развязывание войны полуфеодалная элита⁴² желала лишь сохранения status quo. В Австрии имелись серьезные философские школы, но о войне австрийские мыслители практически ничего не написали.

Сложнее всего было обосновывать оборонительный характер войны в Германии. Причем не только потому, что она объявила начало военных действий, вторглась в Бельгию и вела войну на чужой территории. В сравнении с другими странами, немецким церквям было труднее объявлять войну «богоугодной». Христианского политика отличает от нехристианского не столько практика, сколько обоснование своих действий: христианин не станет оправдывать свои поступки антихристианскими принци-

⁴¹ Schorske C. Fin-de-siecle Vienna: Politics and Culture. N. Y.: Vintage Books, 1981. P. 119.

⁴² Среди нелицеприятных характеристик, данных правящим кругам Австро-Венгрии современниками, самая уничижительная принадлежит, пожалуй, Р. Люксембург: «... габсбургская монархия есть не политическая организация буржуазного государства, а лишь слабо связанный синдикат нескольких клик общественных паразитов» (Цит. по: Ленин В.И. О брошюре Юниуса // Ленин В.И. Полное собр. соч. в XXX т. Т. XXII. 5-е изд. М.: Изд-во политической литературы, 1973. С. 8.

пами. При всей гибкости богословов трудно было объяснить немецкому католику, помнившему о гонениях времен Бисмарка, что война с французскими единоверцами имеет религиозный характер, а расистские принципы, вдохновлявшие уже в то время значительную часть германской элиты, проистекают из христианского учения. Совсем не чужд расизму был и кайзер Вильгельм, регулярно повторявший, что война имеет расовый характер (*Rassenkrieg*) между германством и славянством, причем без малейшего учета того, что в армии союзника воевали чехи, словаки и хорваты, а из поляков формировали боевые части для войны за «независимую Польшу». Ссылки на войну против «варваров» хоть как-тогодились для обоснования борьбы с Сербией и Россией, но и Франция, и Англия (а затем Италия) могли указывать на варварство тех, кто постоянно ссылался на победу над римскими легионами в Тевтобургском лесу.

И Англия, и Франция обосновывали свое вступление в войну защитой цивилизации от варварского милитаризма, но и Германия желала не просто захватывать новые территории. Даже далекие от мудрствований генералы размышляли о судьбах всего мира. Фельдмаршал Мольтке писал о том, что латинские народы уже прошли зенит своего развития, славяне еще слишком дики и несут кнут и духовное варварство; Британия преследует только материальные интересы. «Одна лишь Германия может помочь человечеству развиваться в правильно направлении. Именно поэтому Германия не может быть сокрушена в этой борьбе, которая определит развитие человечества на несколько столетий»⁴³. Германская элита видела во внешней экспансии средство одоления внутренней угрозы, победы над взбунтовавшимися «варварами» в самой Германии. Как говорил канцлер фон Бюлов, «национальная политика – истинное средство в борьбе с социал-демократами». Крупная победа социал-демократов на выборах в 1912 году была одним из важнейших побудительных мотивов для начала войны. Пангерманизм буржуазных политических организаций становился все более расистским во время войны. Глава Всенемецкого союза, Генрих Клас, уже тогда требовал начать «безжалостную борьбу с еврейством»⁴⁴. Даже оказавшая огромное воздействие на умы легенда о вонзенном красными и евреями «ноже в спину» победоносной армии родилась в этих кругах еще в июле 1918 года. Немецкая буржуазия считала казарму «школой нации», а собственное «верноподданничество» (*Untertanmentalitaet*) образцом для подражания всех прочих народов.

⁴³ Цит. по: *Уткин А.И.* Первая мировая война. М.: Эксмо, 2002. С. 165.

⁴⁴ Цит. по: *Weler H.-U.* Op. cit. S. 216.

Совсем не склонный к преувеличениям левых историков, желающих находить во втором Рейхе все черты третьего, Томас Ниппердей⁴⁵ отмечал, что наряду с «официальным» национализмом (с сильной монархической составляющей), ориентацией на сохранение status quo, существовал куда более агрессивный либеральный национализм, который он называет «интегральным». Не прусские юнкера, а немецкая буржуазия была его носителем. Сотни тысяч членов насчитывали уже указанные союзы: Alldeutsches Verband, Wehrverein, но рядом с ними действовали также весьма сильные Ostmarkverein, Allgemeine Deutsche Sprachverein, ставившие перед собой задачи вытеснения одних славян и онемечивания других. Уже названия других союзов: Deutsche Kolonialgesellschaft, Deutsche Flottverein передают то, что нацелены они были на борьбу Германии «за место под солнцем». Они были тесно связаны и с промышленниками, и с правительственными кругами. На 1914 год во флотском союзе состояла 331 тыс. прямых членов и 1,1 млн членов через его отделения.

Помимо «красных» члены этих союзов видели врагов в этнических меньшинствах (поляки, евреи), в пацифистах, иногда в левых либералах и католиках. «Борьба за выживание» была объявлена непререкаемым принципом политики: мир виделся поделенным на добро и зло, свет и тьму; в борьбе действует максима «победа или смерть», а условием победы являются «порядок и авторитет». Идеологию Всенемецкого союза можно считать voelkisch, поскольку в ней присутствует и популизм, и национализм с элементами расовой доктрины⁴⁶. Впоследствии, уже после Второй мировой войны, довольно распространенным станет истолкование истории немецкой буржуазии, согласно которому в начале XX века она по-прежнему уступала решение важнейших вопросов юнкерству, была аполитичной, а потому покорно принимала прусский милитаризм. Действительно, мечта немецкого бюргерства об объединении Германии была осуществлена «железом и кровью», высшие посты в государственном аппарате занимали дворяне. Однако сама немецкая буржуазия далеко ушла от гуманистических мечтаний времен Гердера и Шиллера. «Никогда ранее не произносили и не писали такого числа сла-

⁴⁵ Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. II. München: Beck, 1992.

⁴⁶ В 1933 году постаревший Г. Клас приветствовал приход Гитлера к власти, прямо считая его наследником Всенемецкого союза, причем для этого имелись веские основания. Об идеологии национально-либеральных союзов см.: Eley G. Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland. Münster: Westfälische Dampfboot, 1991.

вословий власти, причем власти насильственной»⁴⁷. Если в некоторых других странах, вроде России, Ницше воспринимали прежде всего как «бунтаря» (а потому его читали и почитали «левые»), то в Германии он оказался философом германского империализма *par excellence*. Хладнокровный администратор и техник войны, фельдмаршал Людендорф, «лучше, чем кто бы то ни было другой воплощал тип нового буржуазного господствующего класса, отодвинувшего во время войны прежнюю аристократию; он был воплощением идей Всенемецкого союза, его brutальной воли к победе, одержимости, с которой на кон ставилось все ради власти над всем миром»⁴⁸.

Программа милитаризации экономики, подготовки к войне, концентрации всех сил на борьбе за новые колонии за морями (Англия!) и территории на континенте (Россия!) предполагала проведение столь же решительной внутренней политики – репрессивный закон против социалистов, введение цензуры, ограничение избирательного права, прекращение *Judenemanzipation* (евреи должны быть лишены гражданских прав и должны рассматриваться как иностранцы). Еще во времена англо-бурской войны эти союзы вели яростную антианглийскую кампанию, теперь Англия становится первейшим врагом в борьбе за мировое господство. У этого союза было наибольшее влияние на правящие элиты (включая окружение кронпринца и военных в Генштабе). Во многом благодаря усилиям этих империалистических элит Германия раньше других стран начала подготовку к войне. Собственно говоря, война началась в 1914 году именно потому, что германская экономика прошла весь четырехлетний цикл подготовки хозяйства к войне, тогда как Франция последовала за нею лишь в 1912 году, а Россия вообще к войне не была готова (у Великобритании в готовности был лишь флот, а потому считалось, что она в войну на континенте вообще не вступит). Германские элиты готовили эту войну и стремились к ней.

Рассматривая притязающую на философские глубины немецкую публицистику тех лет, следует учитывать, что в рамках правящего класса Германии шли непрерывные споры о целях войны, о том, кто является главным соперником Рейха. Для группы политиков и промышленников вокруг канцлера фон Бетман-Гольвега таким противником была Россия, для «военно-морской партии» во главе с адмиралом фон Тирпицем та-

⁴⁷ *Elias N.* Studien ueber die Deutschen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. S. 236.

⁴⁸ *Haffner S.* 1918/1919. Eine deutsche Revolution. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981. S. 28.

ковым была Англия. Если в тексте интеллектуала война рассматривалась прежде всего как схватка с «мировой плутократией» и «капитализмом», то он явно склонялся ко второй группе немецкой элиты.

Геополитика в явной или неявной форме всегда предполагает некую историософию. Германия была родиной двух наиболее разработанных философско-исторических моделей. Первая из них, представленная прежде всего Фихте и Гегелем, утверждает необходимое движение всего человечества, проходящего на своем пути ряд ступеней. Один народ сменяет другой как выразитель и лидер в этом движении – к началу XIX века таковыми стали немцы. Другая модель восходит к Гердеру и романтикам: есть множество народов с их неповторимыми культурами, нет единого человечества и управляющих его развитием законов. Этот круг идей получил развитие сначала в «исторической школе права», затем у немецких экономистов и социологов (от Франца фон Листа до Вернера Зомбарта).

Во время войны немецкие мыслители склонялись либо к подчеркиванию своеобразия немецкого духа, «особого пути» (*Sonderweg*) Германии и «Срединной Европы» (*Mitteleuropa*), либо провозглашали, что Германия несет человечеству новую эру, отменяющую наследие либерализма и «идей 1789 года», которым противопоставлялись «идеи 1914 года».

Sonderweg

В Германии противопоставление немецкой *Kultur* французской и английской *civilisation* к концу XIX – началу XX вв. уже приобрело антизападные черты, тогда как во время Первой мировой войны оно стало общим местом не только трактатов философов и историков, но и официальной пропаганды. Этим воззрений держались даже те мыслители, которые никак не были крайними националистами. Эрнст Трёльч в 1916 году пишет статью «Метафизический и религиозный дух немецкой культуры»⁴⁹, в которой немецкие философия, искусство, политическое мышление отличаются от западных. Германская идея свободы всегда бу-

⁴⁹ Она без изменений была переиздана в 1925 году в сборнике избранных статей Э. Трёльча с характерным названием «Немецкий дух и Западная Европа» (*Troeltsch E. Deutscher Geist und Westeuropa. Gesammelte kulturphilosophische Aufsätze und Reden. Tübingen: Mohr, 1925*).

дет иной, не похожей на свободу западных народов, поскольку она имеет не столько политический, сколько духовный характер: «...она всегда будет сохранять связь с идеалистической идеей долга и романтической идеей индивидуальности»⁵⁰. Немцы иначе видят соотношение индивида и государства, парламентская демократия не является чем-то необходимым для немца, зато ему исконно присуща «романтическая идея индивидуальности».

Но еще более характерны публикации времен войны и первых послевоенных лет, принадлежащие Томасу Манну, которого можно считать одним из духовных отцов «консервативной революции». Собственно говоря, он первым употребил это словосочетание, ссылаясь на Достоевского⁵¹, который в «Дневнике писателя» писал и об особом рода революционности, возникающей из консерватизма («Мой парадокс»), и о незавершенном протесте немцев против Запада. Несколько статей Манна времен войны и написанная во время войны и вышедшая вскоре после перемирия книга «Размышления аполитичного» (1918) непосредственно примыкают к «консервативной революции». На протяжении всей этой огромной книги он непрестанно цитирует Достоевского, называет его «пророком»; хотя Германия и Россия находились в состоянии войны, Манн пишет о союзе Германии и России как о «мечте своего сердца» (вопреки пропаганде того времени, в которой Россия именовалась не иначе как «варварская страна»). Этот союз, по Манну, должен быть направлен против наступающего англосаксонского мира с его прагматизмом и утилитаризмом (в конце книги, видимо, уже после подписания перемирия, он пишет по-английски: *The world is rapidly becoming english*). Немцев и русских роднит близкое понимание человека и человечности, отличное от латинского и англосаксонского. Манн ставит вопрос о сходном противостоянии традиций этих двух стран Западу и спрашивает: «Разве у нас нет своих славянофилов и своих западников?» (*Haben nicht wir auch unsere Slawophilen und unsere Sapadniki?*) Тех, кого он презрительно именует «литераторами» (включая и собственного брата Генриха Манна, с которым были на несколько лет прерваны все отношения), Томас Манн относит к «западникам», т.е. к тем, кто хотел бы разрушить Германию. Славянофильство в России он оцени-

⁵⁰ *Трёлъч Э.* Метафизический и религиозный дух немецкой культуры // Антология. Логика культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2009. С. 234.

⁵¹ Влияние Достоевского на немецких мыслителей начала века было вообще значительным. Этому поспособствовал новый перевод собрания сочинений, издававшегося под редакцией Д.С. Мережковского и Артура Мёллера ван ден Брука. Последний написал предисловия к ряду томов (кстати, перевод осуществляла его золовка).

вает по негативному содержанию, как реакцию на Запад, а по позитивному – как консерватизм. Именно такова его собственная позиция – консервативное противостояние Западу. Английская и французская пропаганда времен войны изобиловала штампами: «цивилизация» – «варварство» (либо «цивилизация» – «пруссский милитаризм» и т.п.). Еще в статье «Мысли во время войны»⁵² Манн саркастически пишет: французы полвека кричали о реванше, но когда дело дошло до войны, то вспомнили о «цивилизации». Они сделали Реймс крепостью, расположили пушки рядом с собором, а после того, как немцы стали отвечать на огонь этих пушек и разрушили собор, то поднялся плач о «цивилизации», которой грозят «варвары». Но ведь средневековые соборы давно перестали быть частью их «цивилизации», с точки зрения которой они принадлежат к векам «фанатизма и предрассудков».

Эта «цивилизация» с ее демократией и «правами человека» насквозь фальшива и лицемерна. Национальная тема совпадает в «Размышлениях аполитичного» с консервативной: «Политический дух демократического Просвещения и «человеческой цивилизации» является не только душевно антинемецким; он с необходимостью оказывается политически враждебным Германии, где бы он ни преобладал. Будущие историки еще покажут, какой была роль международного иллюминатства, мировой ложи франк-масонов... в духовной подготовке и действительном развязывании этой мировой войны – войны «цивилизации» против Германии»⁵³. Истинным духовным врагом Германии является даже не Франция, реваншизм которой все же национален, а потому хоть как-то оправдан; настоящий враг – Англия и ее агенты – сторонники «человеческой цивилизации». Этими агентами являются и «deutsche Sapadniki», которые желают тотального изменения национального характера немцев. За образец берется «мировая демократия», «империя цивилизации», «общество человечности», целью которых, однако, является исчезновение немецкого духа. Война поэтому определяется Томасом Манном как «консервативное сопротивление прогрессу», который он иронически и с явной отсылкой к Ницше называет «прогрессом от музыки к демократии». Войну Манн приветствует как открытую борьбу с этой цивилизацией – с плоскогуманной, тривиально-декадентской, феминистски-элегантной Европой, «литературной как парижская кокотка», ставшей «слишком человеческой»; это война с «цивилизацией танго и тустепа», делячества, прикрытого вы-

⁵² См.: *Mann T. Gedanken im Kriege // Die Neue Rundschau*, Nov. 1914. No. 11.

⁵³ *Mann T. Betrachtungen eines Unpolitischen*. Frankfurt am Main: Fischer, 1956. S. 58.

сокими словами о правах и свободах⁵⁴. Эта цивилизация уже начала завоевывать Германию до войны, и война есть «восстание Германии против западного духа», дошедшего до нигилизма в результате Просвещения и демократического прогресса. Мир демократии, партийной политики, прав человека и прочих «идей 1789 года» признается им антинемецким, ибо Германия по духу своему консервативна и аполитична.

Для такого вывода имелись известные основания. После Реформации в Германии доминировало лютеранство, а не кальвинизм, способствовавший не только «духу капитализма» (по формуле Макса Вебера), но и демократии в англосаксонских странах. Кальвинисты отвергли вместе с церковной иерархией и мирскую: подобно тому, как они избирают своих пресвитеров, со временем стали избирать президентов и губернаторов. Лютеранство не только сохранило минимальную церковную организацию, но связало церковь со светской национальной властью – «всякая власть от Бога». Как и кальвинист, лютеранин склонен к «внутримирской аскезе», к реализации своего призвания в деятельности. Но если для кальвиниста эта деятельность может быть какой угодно, а потому включает в себя любое прибыльное предприятие, то лютеранство ориентирует на реализацию своего призвания в сфере высокой культуры – музыка, живопись, философия, поэзия представляют собой те избранные области духа, где лютеранин действует с чувством религиозной избранности. Поэтому он аполитичен и консервативен: в Германии, словами Хельмута Плесснера, развилась настоящая «культурнабожность» (*Kulturfromtigkeit*), имеющая своим коррелятом аполитичного творца, равнодушного к темам земной власти. Немецкий консерватизм имел не только романтические, но также религиозные истоки.

Однако этот консерватизм был совсем не революционным. Таковым он делается из-за того, что побеждает и укрепляется противоположный ему дух либерализма и прогрессизма. В предисловии к антологии русских писателей Томас Манн замечает: «Консерватизму нужно набраться духу, чтобы стать более революционным, чем какое-нибудь позитивистски-либеральное Просвещение; сам Ницше, начиная со своих «Несвоевременных размышлений» был не чем иным, как консервативной революцией»⁵⁵. Манн сравнивает Гоголя с Ницше, сочувственно пишет о православном консерватизме Лескова и, разумеется, о Достоевском, как о тех, кто восставал против западной цивилизации.

⁵⁴ См.: *Ibid.*

⁵⁵ См.: *Mann T. Essays. Bd. II. Frankfurt am Main: Fischer, 2002. S. 37.*

Противопоставление Германии и Запада получило особенно широкое распространение у многих немецких мыслителей во время войны. Я коснусь только двух авторов из числа тех, кто впоследствии создавал философскую антропологию. Макс Шелер и Вернер Зомбарт получили известность еще до войны: первый, как феноменолог, соединивший Гуссерля с Августином, второй, как автор работ по истории капитализма. Оба они участвовали в полемике по поводу работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», причем негативное отношение их к капитализму как таковому не было ни для кого секретом. Зомбарт до войны считался марксистом, а Шелер был консервативным католиком, написавшим чрезвычайно важную для понимания феномена «консервативной революции» работу «О переворачивании ценностей», в которой одной из важнейших тем является критика демократии и светского «гуманитаризма».

В начале 1915 года Макс Шелер публикует большую книгу «Гений войны и немецкая война», которая по своему политическому содержанию отличается от антизападной ориентации «консервативной революции», поскольку главной задачей Германии в войне Шелер считает победу над Россией, отбрасывание ее от Прибалтики и Черного моря. Это – «священная война» за «европейское дело», а Франция и особенно Англия оказываются «предателями» этого дела. За этой войной последует ряд других, и объединенную континентальную Европу будет вести на борьбу с Россией именно Германия, которая одновременно введет блокаду против Англии. «Солидарная континентальная Европа под военным руководством Германии»⁵⁶, ведущая войну с геополитическим врагом, с Россией, – можно сказать, что Шелер уже сформулировал здесь основные лозунги, под которые действительно шла следующая европейская война. Задача Германии заключается в том, чтобы объединить «железом и кровью» Европу, уничтожить Россию как самостоятельную державу, а затем вести борьбу с англосаксами за мировое господство.

Все это обосновывается Шелером ссылками на «европейский дух», что, впрочем, всегда стояло на знаменах тех, кто провозглашал «святым делом» уничтожение России. Любопытно то, что уже в следующей рабо-

⁵⁶ Аннексия Бельгии, насильственное включение Голландии в таможенный союз, захват Прибалтики, Украины – о всем этом Шелер, как и многие другие немецкие идеологи, писал вполне откровенно. Время «политической корректности» еще не настало, а потому «честные» немцы той эпохи так не любили лицемерие англосаксов, которые уже научились камуфлировать свои имперские интересы словами о демократии, свободах и правах.

те Шелера – «Причины ненависти к немцам» (1917) – его оценки радикально меняются. Он замечает, что ненависти к Германии значительно меньше в царской России, чем в «демократических» странах Антанты. Основную причину ненависти к Германии он видит в буржуазном, торгашеском духе Англии. Еще дальше идет Шелер в докладе, сделанном сразу после заключения Версальского договора «Христианский социализм как антикапитализм». В это время он поддерживает связи с «Июньским клубом» (через Генриха фон Глейхена) и формулирует идеи, которые в целом созвучны «консервативной революции». Можно даже сказать, что «христианский социализм» Шелера является прямым предшественником «немецкого социализма». Марксизм и большевизм им отвергаются, но выдвигается идея «национального государственного социализма». Шелер пишет о возможном союзе с Россией в борьбе против Запада. Целью Германии провозглашается «антикапиталистическая политика». Войну выиграла прежде всего Америка, а это на время дает господство «капиталистическому типу человека и хозяйства», тогда как все остальные нации делаются «в большей или меньшей мере рабами, даже пролетарскими нациями по отношению к англо-американскому капитализму»⁵⁷. Но время этого капитализма подходит к концу, поскольку «капитализм есть эпизод мировой истории, он пришел не так уж надолго». Это – идол Маммоны, извращение человеческой природы. Борьба с англо-американским «мировым капитализмом» объединяет угнетаемые «пролетарские нации» – вплоть до возможного союза с Россией, которую несколько лет ранее Шелер считал главным противником европейской культуры.

Вернер Зомбарт во время войны выпустил яркую книгу «Торгаши и герои» (1915), где основная оппозиция проводится между Англией и Германией. Враги Германии говорят о борьбе «западной цивилизации» с «немецким милитаризмом», но в действительности речь должна идти о борьбе двух человеческих типов – торгаша и героя. Они вечно присутствуют в любой культуре, но как два доминирующих мировоззрения они самым отчетливым образом воплотились в Англии и в Германии. И английская философия от Фрэнсиса Бэкона до Герберта Спенсера, и английская политэкономия, и английская наука от Исаака Ньютона до Чарльза Дарвина связаны с торгашеством. Даже на природу переносятся либерально-буржуазные представления, тогда как учение о государстве дает образ мещанской конторы. Меркантилизм присущ всей английской жизни, все войны ведутся ради прибыли, прикрываясь лицемерными

⁵⁷ *Scheler M. Politisch-pädagogische Schriften. Bern und München: Franke, 1982. S. 653.*

словами о «правах и свободах». Английский социализм есть следствие подобного капитализма: положительный знак сменяется на отрицательный, но человек предстает в точности таким же – в духе утилитаризма и материализма.

Поэтому «война 1914 года есть война Ницше»; «немецкое мышление и немецкое чувство заявляют о себе прежде всего как решительное отрицание всего того, что хоть как-то напоминает английское, или западноевропейское вообще, мышление и чувство»⁵⁸. Немец отвергает утилитаризм и эвдемонизм, идеи пользы и наслаждения во имя воли и духа, долга и преданности, самопожертвования и героизма. Немецкому духу присуще органическое представление о государстве, как о том панцире, который защищает народное тело. «Милитаризм» – это выражение ненавидящих Германию торгашей и купленных ими «демократических» писак. На деле речь идет о примате ценностей воина, героя. Война позволяет выявить эти высшие человеческие свойства. До войны торгашеская культура, буржуазное мировоззрение уже стало завоевывать мир своим стремлением к материальным благам и к комфорту. Однако богатство и комфорт не могут быть высшими ценностями жизни; там, где они делаются таковыми, жизнь неизбежно обречена на упадок. «Идеи 1789 года» антижизненны, поэтому против них идет «священная немецкая война», равно как против «интернационализма» торгашей, против «европейничанья» – не существует «европейца вообще», как не существует одного для всех стран единого языка – представители разных наций еще не дошли до того, чтобы говорить на каком-нибудь эсперанто.

Следует сказать, что Зомбарт в своей книге негативно высказывается о планах захвата территорий: ничего не нужно захватывать, никого не следует «германизировать»; историческая роль Германии заключается в том, чтобы быть дамбой на пути у грязного потока торгашества, готового захлестнуть весь мир. Разумеется, германская *Realpolitik* тех лет весьма отличалась от этих прокламаций, ибо речь уже тогда шла о «жизненном пространстве». Работа Зомбарта важна как этап не только его биографии (из лагеря марксистов – пусть самых умеренных – он переходит в лагерь последовательных националистов), но и в плане подготовки идеологии «консервативной революции». Внешняя оппозиция Англии и Германии переходит после войны во внутреннюю оппозицию капиталистического либерализма и «немецкого социализма». Противопоставле-

⁵⁸ *Sombart W. Händler und Helden, Patriotische Besinnungen. München, Leipzig: Duncker & Humblot, 1915. S. 55.*

ние двух человеческих типов, проведенное Зомбартом, становится общим местом идеологов «консервативной революции».

Полезно держать в руках старые книги. Эта книга Зомбарта вышла в серии *Buecher fuer die Zeit* издательства Duncker – одно лишь это издательство предлагало своим читателям на конец 1915 года десятка три книг немецких профессоров; по аннотациям можно выяснить, что в них мы имеем дело с целой панорамой. В одних обсуждаются (и осуждаются) британский империализм, французская демократия, русская деспотия, в других обосновывается право немцев на захват территорий, в третьих прославляются великие немецкие полководцы прошлого и т.д. Некоторые ранее никому неведомые провинциальные учителя, вроде будущего нацистского куратора немецкой философии Эрнста Крика, получили известность именно благодаря таким патриотическим сериям.

Идеи 1914 года против идей 1789 года

Идея тождества между прусским милитаризмом и социализмом появилась задолго до Первой мировой войны. Еще в 80-е гг. XIX столетия Карл Каутский высмеивал книгу Г. Туха, в которой решение социального вопроса чуть ли не было равнозначно превращению Европы в одну большую казарму. Социал-демократы принимали в те времена призывающие к миру резолюции и в соответствии со словами «Интернационала» обещали превратить империалистическую войну в гражданскую. Хотя, как уже упоминалось выше, харизматическому вождю партии Августу Бебелю принадлежали слова: «Если речь идет о войне с Россией, я сам возьму в руки винтовку», вплоть до августа 1914 года социалисты считали себя пацифистами – таковыми их считали и их противники, т.е. двор кайзера, офицерство, практически вся немецкая буржуазия. Даже накануне войны 25 июля 1914 года руководство партии приняло резолюцию, осуждающую австро-венгерское правительство за «фривольную провокацию войны». Но уже через несколько недель парламентская фракция социал-демократов в подавляющем большинстве своем одобряет военные кредиты и повторяет вслед за официальной пропагандой, что война была развязана Сербией и Россией, что Германия ведет оборонительную войну за «правое дело».

Подобную эволюцию проделали почти все социалисты Европы. Когда дом горит, то не время заниматься поиском того, кто виновен в пожаре, нужно сначала потушить пожар. Пробудившийся патриотизм социалистов вряд ли нужно – вслед за партийной коммунистической историографией – характеризовать как «предательство» интересов рабочих своих стран. Но часть руководства эсдеков пошла много дальше того, что можно назвать патриотизмом. От первоначальной позиции («мир без завоеваний») партийное руководство к 1916 году перешло к поддержке планов аннексий германского руководства: захват территорий может служить экономическому и историческому «прогрессу», в борьбе с «кровавым царизмом» хороши все средства.

Само по себе это согласие с целями германского империализма еще ничем не отличает немецких социал-демократов от прочих европейских социалистов, поддержавших свои правительства в условиях войны. Идейно к этому социалисты были отчасти готовы: еще за десять лет до войны в Фабианском обществе в Великобритании возникли идеи «социал-империализма». Особенностью германских правых социал-демократов было то, что тотальная мобилизация всех ресурсов в условиях войны оказалась для них желанным образцом социалистического общества. Разве Энгельс в «Анти-Дюринге» не писал о том, что на место анархии капиталистического производства придет более совершенная плановая экономика? Правда, ни Энгельс, ни Маркс не писали о том, что эта новая социалистическая экономика возникает в рамках национального государства, а социализм есть средство мобилизации трудовых ресурсов ради военной победы. Но у другого основоположника СДПГ, Фердинанда Ласалы, уже присутствовала подходящая идея «государственного социализма», а слова «организация» и «дисциплина» вожди этой партии (К. Либкнехт, А. Бебель) любили не меньше прусского офицерства.

Термины «национальный социализм» и даже «национал-социализм» появляются в изданиях немецких социал-демократов с 1915 года. Первопроходцем был Август Винниг, напечатавший статью в издании профсоюза немецких строителей. В ней говорилось о том, что военная экономика предполагает не только нормирование ресурсов, но также иную организацию всего общества, участие в управлении профсоюзов – дисциплина и организация становятся ключевыми словами в определении того, что Винниг уже тогда назвал *Elemente eines neuen Deutschtums*. Классовая борьба исчезает в новом рейхе, пролетариат становится союзником и сотрудником государства, поскольку судьба Германии и судьба рабочего класса неразрывно друг с другом связаны.

Среди социалистов, пересмотревших свои прежние пацифистские убеждения, наиболее интересна фигура Пауля Ленша, который принадлежал левому флангу СДПГ, вместе с Розой Люксембург воевал с «ревизионистами». Еще в августе 1914 года он принадлежал к тем, кто противился голосованию за военные кредиты, но с 1915 года он входит в группу правых («Группа Кунова – Хэниша – Ленша»), которая идет дальше всех прочих в переосмыслении программы и политики социал-демократов в духе «военного социализма». Ленш хорошо разбирался в вопросах экономики (после войны он вышел из партии и стал профессором экономики в Берлинском университете), а потому увязывал необходимость пересмотра пацифистских позиций социалистов с изменениями в отношениях между государством и хозяйственными отношениями. Образование синдикатов и картелей ведет к монополистической организации рынка, ко все большему сращиванию частного капитала с государством. Растет и роль государственного планирования – война лишь усилила и ярко выявила эту тенденцию. Мировая война для Ленша имеет революционный характер, поскольку она ведет к стиранию старых классовых и сословных различий, к плановому «государству организации», в котором все индивиды становятся клетками единого организма. Возникающее в условиях войны общество отменяет индивидуалистические принципы 1789 года. Поэтому и социал-демократическая партия не может оставаться прежней классовой партией пролетариата. Из крайне левой партии она становится «партией центра», в которой свою роль будут играть и интеллектуалы, и чиновники, и офицеры. Социалистический идеал вообще никогда не был тождествен буржуазным идеям прав и свобод, его сердцевину составляет идея равенства в организованном обществе. Такое общество может возникнуть только в рамках национального государства, а потому социализм выступает у Ленша как «спаситель национализма». В отличие от других руководителей партии, делавших оговорки в духе прежних лозунгов («мир без аннексий», «всеобщее разоружение» после войны), он считает такого рода идеалы абстрактными и оторванными от действительности. Мы живем в мире национальных государств, интересам немецких рабочих отвечает сильная экономика в могущественной империи. У рабочих есть свое отечество, за которое они готовы умирать.

Не меньший интерес представляет книга Йоганна Пленге: «1789 и 1914. Символические годы в истории политического духа»⁵⁹. Пленге не был членом СДПГ, хотя относился к близким правому крылу этой пар-

⁵⁹ *Plenge J.* 1789 und 1914. Die symbolischen Jahre in der Geschichte des politischen Geistes. Berlin: Julius Springer, 1916. Пленге ссылается на вышедшую годом ранее книгу

тии публицистам. Во время войны он печатался в издаваемом А.Л. Парвусом *Die Glocke*. Пленге был правым гегельянцем, он критиковал Маркса и его последователей в своих довоенных работах «Маркс и Гегель» (1911) и «Будущее в Америке» (1912): марксисты не видят того, что грядущий социализм не будет социализмом «свободных ассоциаций трудящихся», но социализмом функционеров, «офицеров и унтер-офицеров хозяйства и управления».

Книга начинается с оппозиции идей Канта и Гегеля – в германской истории идей она оказывается определяющей. Война возвращает нас к закрытому торговому государству Фихте и к гегелевскому возвышению Пруссии как образцового государства. Война ведет к преодолению классовых противоречий в национальном государстве, она привела уже к централизации, к планированию хозяйственной жизни. «Война производит экономику, экономика – войну!»⁶⁰. Именно это составляет существо «идей 1914 года». Нечто подобное происходит и в других воюющих странах, но там нет соответствующей интеллектуальной традиции. «За нами будет XX век. Как бы ни окончилась война, мы являемся образцовым народом. Наши идеи будут определять жизненные цели человечества»⁶¹. 1914 год является годом перелома, поскольку с ним связано «свободное включение крупных хозяйственных органов в государство», сделавшееся «всеобъемлющим центром всех членов экономической жизни». Возникает «народное товарищество национального социализма»⁶².

Пленге пишет, что «идеи 1914 года» являются «золотой серединой» между государственным социализмом и демократизмом. Они объединяют такие противоположности, как организация и индивидуализм, чиновничество и народная свобода, системой обязанностей и правами человека. Движение к государственному социализму началось еще до войны. Капитализм вообще не был мирным – эпоха капитализма есть эпоха колониальных захватов, передела мира во имя экономических целей. «Капитализм возник не на каких-то островках мира во всемирной истории... Капитализм был орудием для государства, а государство, со своей стороны, орудием капитализма, желавшего расширить свои рынки, подавить своих противников с помощью политических средств»⁶³. Капитализм на-

шведского юриста Кьеллена, в которой уже присутствует оппозиция этих двух дат (впервые она была использована неизвестным автором в передовице *Frankfurter Zeitung*).

⁶⁰ *Ibid.* S. 18.

⁶¹ *Ibid.* S. 20.

⁶² *Ibid.* S. 82.

⁶³ *Ibid.* S. 74.

чинался с освобождения, он завершается организацией. Он освободил крестьян, освободил производство от цеховых ограничений, провозгласил свободу торговли и свободу слова. Это привело к быстрому техническому и экономическому развитию. Но само это развитие привело к концентрации капитала, к гигантским предприятиям, которые переплетаются с государственными институтами и гасят прежние свободы. 1789 год был годом победы идей свободы, 1914 год символизирует завершение этого исторического периода.

Пленге признает то, что военное хозяйство есть временное явление, что после войны произойдет возврат к некоторым чертам прежней эпохи. Но сохранится идея «немецкой организации», планового хозяйства, четкого разделения труда в рамках единого экономического организма. Идеи 1914 года для него именно поэтому суть идеи «национального социализма». Вслед за Гегелем он говорит о движении мирового духа через ступени, находящие свое выражение в «идеях». Теперь он принимает вид национального государства с плановой экономикой, национальной и социалистической в одно и то же время. Прежняя социалистическая идея была для Пленге чуть ли не анархической: обобществление средств производства мыслилось социал-демократами как движение к «свободным ассоциациям трудящихся». Война показала истинное лицо будущего социализма: плановое хозяйство требует диктатора, поскольку ему требуется центр организации. Еще в статьях 1915 года Пленге сравнивал кайзера с Наполеоном («мировой идеей на коне» у Гегеля), причем кайзер предстал не как традиционный монарх, а как «вождь немецкого народа», диктатор и организатор побед.

Не затрагивая два больших раздела книги, посвященных внешней политике и демографии, обратим внимание только на главную мысль Пленге: грядущий социализм не будет утопическим «царством труда» довоенных социалистов, он будет национальным и военным социализмом. «Философски это можно выразить следующим образом: хотим мы того или нет, мы вступаем в закрытое торговое государство Фихте, которое будет строиться на основе гегелевских представлений о государстве»⁶⁴. Оно будет закрытым для мирового капитала, который способен только грабить народы (и сравнивается Пленге с пиратами). Это будет сильное национальное государство, в котором одна и та же сила пронизывает все части и посредством единой воли направляет все члены организма к решению стоящей перед нацией задачи. К довоенному обществу уже нет

⁶⁴ *Ibid.* S. 121.

возврата – война изменила и общество, и государство. «Посредством войны мы сделали более чем когда-либо *социалистическим обществом*»⁶⁵. Правда, социализм для Пленге не есть огосударствление всего и вся, не ликвидация частной собственности. И собственность, и основные права личности сохраняются, но изменится сама среда их существования, иными будут идеалы. Социализм есть организация, которой соответствует определенный тип человека. «Революция 1914 года» рождает нового человека, с новой моралью. Пленге дает набросок, в котором уже содержатся основные черты «Рабочего» Эрнста Юнгера. Он пишет о новой «морали господ» (Herrenmoral), критикуя при этом Ницше, поскольку тот оставался индивидуалистом, а новая мораль является национальной и социалистической. Идея организации вообще является «аполлоновской», а не «дионисийской»; высший тип представляет собой рационального человека организации, а не дионисийского «сверхчеловека».

Идеи Пленге и Ленша оказали немалое влияние на правое крыло СДПГ (так называемое «неолассальянство»), но было бы ошибочным делать всю немецкую социал-демократию непосредственным предшественником и побудителем национал-социализма, как это представлялось Фридриху Хайеку⁶⁶, для которого любой национально окрашенный социализм уже является нацизмом. Обвиняя всех социал-демократов, Хайек решал свои задачи – апологетики либерализма австрийской школы. В действительности СДПГ, вопреки своей марксистской программе, была главной опорой Веймарской республики, а ее правое «милитаристское» крыло ослабло после воссоединения «большинства» и «независимых» в начале 20-х гг. Некоторое влияние этой идеологии продолжали испытывать немецкие профсоюзы – их вожди куда легче находили общий язык с национал-социалистами. Но истинным наследником Вальтера Ратенау и Иоганна Пленге был В.И. Ленин: в статьях 1918–1920 гг. он часто обращался к опыту военного «государственного социализма». Именно эти

⁶⁵ *Plenge J.* 1789 und 1914. Die symbolischen.... S. 123

⁶⁶ Книга Ф. Хайека «Дорога к рабству», к сожалению, донныне является для многих читателей единственным источником сведений о немецкой социал-демократии первой трети века. В ней идеи небольшой группы раскольников, вроде П. Ленша и А. Виннига, либо независимого философа и публициста И. Пленге, выдаются за позицию всей партии, причем именно в СДПГ он видит ту силу, которая готовила победу НСДАП во времена Веймарской республики. Лживость этих обвинений очевидна для всякого, кто имеет хотя бы малейшее представление о немецкой истории, но англоязычные либералы чаще всего такого представления не имели ни в 1944 году, когда вышла «Дорога к рабству», ни, тем более, сегодня (См.: *Хайек Ф.* Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005).

идеи легли в основание планового хозяйства, а не чуждая большевикам традиция крестьянского «мира».

Томас Манн так передал суть «идей 1914 года»: «... что после Испании, Франции, Англии пришла наша очередь отметить своей печатью и повести за собой мир; что двадцатый век принадлежит нам и что по истечении провозглашенной около ста двадцати лет назад буржуазной эпохи мир должен обновиться под знаком немецкой эры, стало быть, под знаком того, что не совсем четко определяется как милитаристский социализм» и иронически завершает свои воспоминания об идеологических исканиях тех лет: «Эта мысль, чтобы не сказать – идея, завладела нашими умами вместе с убеждением, что война нам навязана, что лишь священная необходимость заставила нас взяться за оружие, – оружие, кстати сказать, давно прикопленное и которым мы столь превосходно владели, что, конечно, жаждали пустить его в ход»⁶⁷.

Россия

В русской патриотической публицистике имелись совпадения с публицистикой союзников по Антанте, но с одним отличием. Если в Великобритании и во Франции (а затем в США) противостояние «германскому милитаризму» сочеталось с оппозициями «свобода – несвобода», «демократия – авторитаризм», то в России они были по понятным причинам невозможны. Об освобождении славян от германского «ига», разумеется, писали немало – начало войне положил ультиматум Сербии. Из пленных чехов и словаков начали создавать армейские подразделения, были даны обещания полякам. Планы расчленения Австро-Венгрии, несомненно, существовали, но в публицистике война представляла преимущественно как война оборонительная или освободительная.

Панславизм опирался на традицию, восходящую к трудам славянофилов первой половины XIX века, хотя многие важнейшие элементы славянофильства были пересмотрены или целиком отброшены⁶⁸. Идейная история всего XIX века «определялась одним и тем же фактом: соприкосновением и оппозицией России и Запада, проникновением евро-

⁶⁷ Манн Т. Доктор Фаустус. М.: АСТ, 2004. С. 359.

⁶⁸ Славянофилы, в отличие от их наследников начала XX века, не были ни националистами, ни государственниками (достаточно вспомнить полемику Ю.Ф. Самарина с М.Н. Катковым).

пейской цивилизации в Россию. Этот процесс... породил две проблемы: с одной стороны, проблему отношений между «Россией и Западом», «Россией и Европой», между «национальным существованием и западной цивилизацией»; с другой стороны, проблему отношений между образованными людьми и массой, *интеллигенцией* и народом»⁶⁹. Философия в России развивалась прежде всего как философия истории – проблемы логики и эпистемологии интересовали русских мыслителей лишь в связи с политическими и историософскими вопросами. Однако сколь бы самобытными ни были иные русские мыслители, философский инструментарий заимствовался ими у западных философов, причем И.В. Киреевского и А.С. Хомякова это касается ничуть не в меньшей степени, чем П.Я. Чаадаева, В.Г. Белинского или А.И. Герцена.

Русская философская мысль возникала под определяющим влиянием немецкой философии – Канта, романтиков, Шеллинга, Гегеля. Киреевский писал, что немецкая философия «вкоренится у нас не может», но сам он был несомненным наследником романтиков и Шеллинга, равно как и первый русский западник – Чаадаев. Гегельянцами были и западники, вроде Белинского и Чичерина, и такие славянофилы, как Аксаков и Самарин. Затем Шеллинга и Гегеля сменили другие немцы – Фейербах, Штирнер, Маркс. С 90-х годов в России становится необычайно популярным Ницше – ни в одной другой европейской стране помимо самой Германии у него не было такого числа переводчиков, толкователей и поклонников. Наконец, в начале XX века русские студенты проходят выучку у неокантианцев и Гуссерля в Германии, в Вене и Цюрихе постигают психоанализ. Не столько российские естествоиспытатели, сколько члены РСДРП спорят о теориях Маха, Авенариуса и Оствальда. В это же время ряд идеологов партии эсеров учатся философии у неокантианца Алоиза Рила. Если же иметь в виду то обстоятельство, что естественным наукам, медицине, инженерному делу многочисленные русские студенты обучались за границей именно в немецких университетах, то становится понятным, что противопоставление России и Германии в сфере духа оказывалось довольно затруднительным.

При этом во время войны совершенно непригодной оказывалась унаследованная от славянофилов оппозиция «Россия – Запад» – союзниками России были Франция и Великобритания, которые, к тому же, рассматривались как «Запад» многими немецкими публицистами. Противопо-

⁶⁹ *Койре А.* Философия и национальная проблема в России начала XIX века. М.: Модест Колеров, 2003. С. 6.

ставление «германства» и «славянства» вообще не всегда совпадало с оппозициями: «Россия – Запад», «Россия – Европа». Причем противниками «германства» были не только и не столько славянофилы – в качестве примера можно привести уже упомянутую «Кнудо-германскую империю»⁷⁰ Бакунина.

Еще до войны начинаются споры между двумя группами русских философов по поводу немецкой мысли. Одни подчеркивали самобытность русской философии, признавая, конечно, некоторое влияние немецкой мысли; другие – чаще всего прошедшие выучку в Марбурге, Гейдельберге или Фрайбурге – пытались привнести в Россию последние достижения германской философии⁷¹. Поэтому в полемике с «германским духом» военных времен можно обнаружить след предшествующих споров. Стоит сказать, что подобного рода «внутренняя борьба» в явном или скрытом виде присутствовала во многих публикациях с самого начала войны. Скажем, получившая широкий отклик книга В.В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» сводит счеты прежде всего с российской революционной и либеральной интеллигенцией, которой противопоставляется не столько славянофильство, сколько официальное монархическое государственничество. Н.А. Бердяев в своих статьях продолжает начатую в «Вехах» борьбу с «нигилизмом» русской интеллигенции, с марксистским утопическим доктринерством, с радикальным западничеством (на примере Горького), которое на деле является идолопоклонством: «Именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души»⁷². Славянофилы для него были как раз первыми европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не просто на детский манер подражать, как это делали западники, оставшиеся в этом отношении именно азиатами. К последним относится и Горький, у которого «все время чувствуется недостаточная осведомленность человека, живущего интеллигентско-кружковыми понятиями, провинциализм, не ведающий размаха миро-

⁷⁰ См.: *Бакунин М.А.* Кнудо-германская империя // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989. С. 188–290.

⁷¹ В качестве примера можно привести основанный учившимися в Германии у неокантианцев Ф.А. Степуном и С.И. Гессеном журнал «Логос»; само издательство «Мусагет» было создано на немецкие деньги и с целью «продвижения» в Россию германской культуры.

⁷² *Бердяев Н.А.* Азиатская и европейская душа // *Бердяев Н.А.* Судьба России. М.: Эксмо, 2007. С. 69.

вой мысли»⁷³. Почти столь же резко Бердяев пишет о наследниках славянофильства, о Розанове⁷⁴: война вовлекает Россию во всемирную историю, она кладет конец замкнутому провинциальному существованию, а тем самым и «славянофильскому самодовольству» и «западническому рабству».

По существу, подобного рода сведения счетов с оппонентами в самой России обнаруживается в многочисленных публикациях. Разумеется, некоторые позиции в условиях военной цензуры не были представлены (ни пацифизм, ни большевистское «пораженчество»), другие вообще не получили в России широкого распространения: в отличие от Германии, о «расовой войне» в России не писали, да и наличие немецкой по крови династии прибалтийских баронов препятствовало распространению подобных суждений.

Зато о метафизическом столкновении с германством «русского духа» писали часто. В памяти потомков остались только самые одиозные публикации, вроде статьи В.Ф. Эрн «От Канта к Круппу» (в сборнике «Меч и крест»), написанной в самом начале войны. Впрочем, его позиция не была примитивно-пропагандистской, а в работе «Время славянофильствует» он четко указал на границы подобных сопоставлений и сделал ряд оговорок. Как и некоторые другие православные мыслители, он указывал на важную особенность немецкой послекантовской философии, в которой субъект полагает, конструирует реальность. Трансцендентальный идеализм Канта и Фихте получил развитие в неокантианстве Марбургской школы – именно в Марбург отправлялись учиться русские философы⁷⁵. Под «немецким духом» Эрн понимал некое сочетание «коперниканской революции» Канта, логицизма Гегеля и волюнтаризма Фихте, Ницше и популярной на то время «философии жизни». Подобно тому, как трансцендентальный субъект организует и даже конструирует объект познания, «немецкий дух» желает навязать свой порядок всему миру. С той оговоркой, что этим богатая спекулятивная мысль Германии не исчерпывается: рейнская мистика, романтизм Новалиса или умозрения Гёте противостоят этому доминирующему в Германии подходу к действительности.

Сходным образом о «немецком духе» писал С.Н. Булгаков, для которого внешние события (мировая война) в каком-то смысле подготавли-

⁷³ Бердяев Н.А. Азиатская и европейская душа... С. 71.

⁷⁴ См.: Бердяев Н.А. О «вечно бабьем» в русской душе // Собр. соч. в V т. Т. III: Типы религиозной мысли в России. Париж: YMCA-Press, 1989.

⁷⁵ Да и не только философы – можно вспомнить о Б.Л. Пастернаке.

вались и предreshались борьбой в сфере духа: «В частности, давно уже назревало и то столкновение германства с православно-русским миром, которое внешне проявилось ныне, не теперь только началась война духовная. С германского запада к нам давно тянет суховея, затягивая пепельной пеленою русскую душу, повреждая ее нормальный рост. Эта тяга, ставшая ощутительной с тех пор, как Петр прорубил окно в Германию, к началу века сделалась угрожающей. И, конечно, существеннее было здесь не внешнее «засилие» Германии, но духовное ее влияние, для которого определяющим стало своеобразное преломление христианства через призму германского духа»⁷⁶. Немецкое прочтение для Булгакова есть «арианское монофизитство», принимающее различные облики: от монизма и имманентизма, до социалистического человекобожия. Он даже именуется «хлыстовством западного типа»: если соблазном для православия является мистическая разнузданность, укорененная в бессознательном, то «западное, германское хлыстовство зарождается и культивируется в *дневном* сознании и потому вообще страдает интеллектуализмом»⁷⁷. Эти слова писались Булгаковым в конце 1916 года, но в самой его книге, начатой еще до войны, действительно можно обнаружить продолжение его предшествующей полемики с «человекобожеством» Фейербаха, Маркса и всего светского гуманизма, которую он начал десятью годами ранее.

За пределы этих еще предвоенных споров выходит Н.А. Бердяев. Безусловно, в его статьях, вошедших в книгу «Судьба России», достаточно много тем, общих для большинства обратившихся к публицистике философов, но появляются совершенно нетипичные для религиозной философии той эпохи вопросы. От рассуждений о «русской и германской душе» он переходит к соотношению национального и общечеловеческого, пишет об империализме, закате европейского рационализма – термины «сумерки Европы» и «новое средневековье» появляются уже в его статьях 1915–1916 гг. Развязанная европейцами мировая война приведет к росту могущества Америки и пробуждению Востока. Он подвергает критике морализаторство по поводу войны и попытку представить одну лишь Германию ответственной за войну – столкновение империалистических волей Германии и Англии было неизбежным. И с российской стороны речь должна идти не об одной лишь защите от агрессора: «Россия имеет свои самостоятельные задачи, независимые от злой воли Германии. Россия не

⁷⁶ Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994. С. 5.

⁷⁷ Там же.

только защищается, но и решает свои самостоятельные задачи»⁷⁸. Время войны вообще было для Бердяева временем огромного духовного напряжения – именно в эти годы обретает окончательные черты его близкая последующему экзистенциализму доктрина, впервые выраженная в большой работе «Смысл творчества». В ней значительное место занимает философия истории – размышления о технической цивилизации, мессианизме, эсхатологии возникают в связи с мировой войной и привносимыми ею переменами в судьбы народов.

Революция, поражение в войне привнесли пессимистические оттенки в суждения о продолжающейся войне. Для Бердяева «русское падение и бесчестье способствовало военным успехам Германии. Но успехи эти не слишком реальны, в них много призрачного. Германские победы не увеличили германской опасности для мира. Я даже склонен думать, что опасность эта уменьшается. Воинственный и внешне могущественный вид Германии внушает почти жалость... Германия есть в совершенстве организованное и дисциплинированное бессилие. Она надорвалась, истощилась и принуждена скрывать испуг перед собственными победами»⁷⁹. Всей Европе грозит внутренний взрыв, подобная российской революционная катастрофа. Возможное крушение всей христианской цивилизации, приход нового варварства под прикрытием революционной риторики – такова пугающая Бердяева перспектива. «После ослабления и разложения Европы и России воцарится китаизм и американизм, две силы, которые могут найти точки сближения между собой»⁸⁰. Розанов в это время пишет «Апокалипсис наших дней», авторы «Вех» вновь объединяются, чтобы выпустить сборник «Из глубины».

Пожалуй, самым глубоким из этих сочинений конца войны была книга Е.Н. Трубецкого «Смысл жизни», большая глава которой была посвящена войне и ее последствиям. Война видится им как провал всевропейской государственности, всех тех идей, на которых строилась цивилизация. И в личной, и в общественной жизни стал господствовать «кодекс последовательного и беспощадного каннибализма». Экономические и технические усовершенствования, даже политическая демократия вели к мировой бойне: «раньше война была делом не народа как целого, а особой армии... Принцип всеобщей воинской повинности, *вооруженного народа*, есть изобретение времен новейших... Меч государства, выпавший из его рук, обратился против него: народ, вооруженный государ-

⁷⁸ Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. С. 148.

⁷⁹ Там же. С. 7–8.

⁸⁰ Там же. С. 9.

ством, стал величайшей угрозой для самого его существования»⁸¹. Национализм, т.е. коллективный эгоизм, столкнулся с ничуть не менее убедительным для массы коллективным эгоизмом класса. В других странах революционно-анархические стремления пока сдерживаются, но современный шовинизм и там может обернуться бунтом: «Чем сильнее шовинистический подъем, тем могущественнее могут оказаться и революционная волна, им вызванная, и те искушения интернационала, против которых безверие бессильно!»⁸². Когда народы истекают кровью, неотразимым соблазном может оказаться самая нелепая утопия. Отчаянная попытка довести войну до победного конца приводит к гражданской войне. Но даже победа в лишенном духовного измерения мире означает лишь биологическую победу более приспособленного к борьбе за существование организма. «Символ мирового владычества – кольцо Нибелунгов – обрекает на гибель его обладателя, ибо оно вооружает против него всех, делает его предметом всеобщей ненависти»⁸³. Без привнесения морали в правила взаимоотношений между государствами цивилизованный мир неизбежно будет следовать от одной войны к другой, все более страшной по своим последствиям.

Если религиозные мыслители в результате поражения России пришли к мысли о пагубности войны, способной перейти в войну гражданскую, то их наиболее радикальные оппоненты с августа 1914 года призывали к такому переходу. Гражданской войной была охвачена не только Россия – в странах Центральной Европы удалось подавить очаги революции. Но эти искры не угасли. Словами немецкого историка Эрнста Нольте, началась эпоха «европейской гражданской войны».

Этой эпохе соответствовал определенный тип человека, выкованный в огне мировой войны. Человека, который готов убивать и жертвовать собой, видящего мир исключительно в черно-белых красках, делящего окружающих на «друзей» и «врагов». Одни будут повторять, что проиграли войну лишь из-за предательства в тылу (*Dolchstosslegende*), провозгласят войну вечным состоянием человека, а «тотальную мобилизацию» условием возможности победы. Другие ответят: «Война – войне», но ради прекращения империалистических войн сделают революционную войну перманентной. Хотя в Германии в силу особенности ее послевоенного положения эти тенденции проявились ярче и сильнее, чем

⁸¹ *Трубецкой Е.Н.* Смысл жизни. М.: АСТ, 2003. С. 346.

⁸² *Там же.* С. 356.

⁸³ *Там же.* С. 358.

в других странах, они хорошо видны по всей Центральной и Восточной Европе. Английский историк Х. Сетон-Уотсон в 1930-е гг. объездил почти всю Европу и был свидетелем «хождения в народ» молодых интеллектуалов, которых он сравнивает с русскими народниками XIX века. В одних странах (Испании, Польше, Хорватии, Словакии) они не получали поддержки рабочих, в Венгрии и Румынии эти движения нашли массовую поддержку пролетариата. В Сербии эти молодые люди становились коммунистами, в Румынии – фашистами, но сам человеческий тип был тем же самым. «Румыны боялись России, а капиталистический враг в их среде часто был евреем. Поскольку Третий Рейх воевал как против внутреннего, так и внешнего врага, Гитлер был для них защитником, и они проглотили его идеологию. Сербы же, наоборот, боялись Германии и любили Россию, и еврейский вопрос в их стране не стоял. Марксизм предлагал решение их трудностей и, кроме того, за ним стояла мощь большого славянского брата»⁸⁴. Идеализм молодежи послевоенного поколения способствовал росту враждебных друг другу сил; общим у них было только неприятие властвующих элит, власти крупного капитала, «рабства процента», купленных плутократами парламентских фракций и газет.

Тип дисциплинированного и предельно рационального в использовании любой техники воина-труженика, рационального пока речь идет о средствах, но не о выборе конечной цели. Тут он целиком веряет себя вождем, партии, организации. На уровне философских умозрений речь шла о «воле», «интуиции», «решимости», «экзистенциальном выборе», «рискованности существования». Однако у вовлеченных в политику интеллектуалов того времени готовность к решительному действию слишком часто сопровождалась жертвоприношением интеллекта ради идолов примитивных идеологий. Эти идеологии не только выражали умонастроения бывших фронтовиков, они обещали творить «нового человека» по образу и подобию добровольца 1914 года.

Военизированные союзы и партии, мобилизация масс посредством шествий в униформе под зовущие в бой марши, сеющие ненависть к политическим противникам речи и газетные передовицы – несогласный с единственно правильной доктриной оказывается «врагом», по отношению к которому хороши любые средства. Врага нужно не просто переубедить или перебороть, его требуется уничтожить, «ликвидировать».

⁸⁴ *Сетон-Уотсон Х.* Фашизм справа и слева // Коммунизм и фашизм – братья или враги? М.: Яуза-Пресс, 2008. С. 190.

Слова «если враг сопротивляется, его уничтожают», «винтовка рождает власть» были сказаны позже, но они вполне подходят к ментальности тех, кто вернулся с фронта Первой мировой войны и окунулся в атмосферу войны гражданской. Морализаторские суждения современных историков, пишущих о коммунистической и фашистской идеологии, чаще всего не учитывают именно то, что сделало массовыми малозначимые политические секты – миллионы европейцев уже мыслили и были готовы действовать в соответствии с такими политическими проектами.

Препринт WP6/2012/03
Серия WP6
Гуманитарные исследования

Алексей Михайлович Руткевич

Идеи 1914 года

Зав. редакцией оперативного выпуска *А.В. Заиченко*
Технический редактор *Ю.Н. Петрина*

Отпечатано в типографии
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» с представленного оригинал-макета
Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 3,35
Усл. печ. л. 3,1. Заказ № . Изд. № 1524
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
125319, Москва, Кочновский проезд, 3
Типография Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»